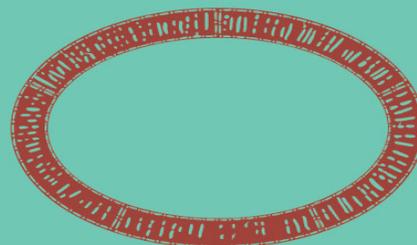
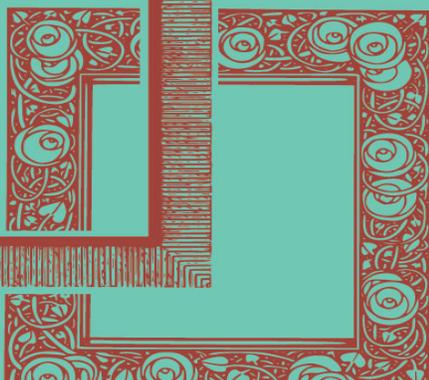
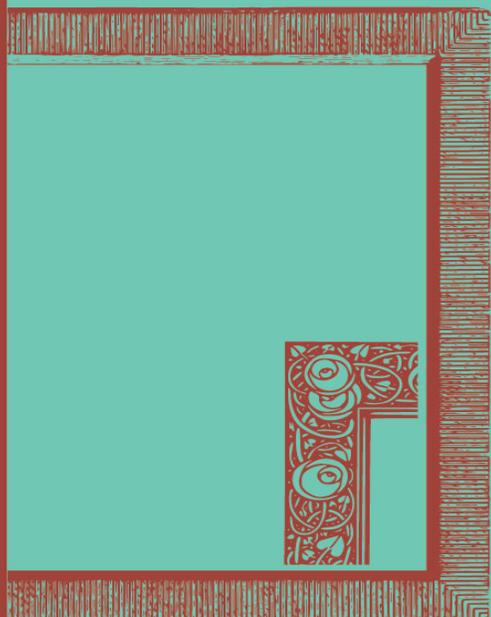
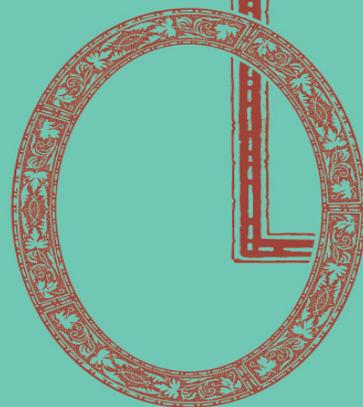


САБАХАТТИН АЛИ

Мадонна В МЕХОВОМ МАНТО



Annotation

Легендарный турецкий писатель Сабахаттин Али стал запоздалым триумфальным открытием для европейской литературы. В своем творчестве он раскрывал проблемы взаимоотношений культур и этносов на примере обыкновенных людей, и этим быстро завоевал расположение литературной богемы.

«Мадонна в меховом мантио» – пронзительная «ремарковская» история любви Раифа-эфенди – отпрыска богатого османского рода, волею судьбы превратившегося в мелкого служащего, и немецкой художницы Марии. Действие романа разворачивается в 1920-е годы прошлого века в Берлине и Анкаре, а его атмосфера близка к предвоенным романам Эриха Марии Ремарка.

Значительная часть романа – история жизни Раифа-эфенди в Турции и Германии, перипетии его любви к немецкой художнице Марии Пудер, духовных поисков и терзаний. Жизнь героя в Европе протекает на фоне мастерски изображенной Германии периода после поражения в Первой мировой войне.

- [Сабахаттин Али](#)

-
-
-

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)

- [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
-

Сабахаттин Али

Мадонна в меховом манто

© А. Аврутина, перевод на русский язык, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *



Из всех людей, встречавшихся мне, лишь один произвел неизгладимое впечатление на меня. Все произошло очень давно, но я никак не могу этого забыть, и когда остаюсь один, перед глазами всегда возникает простое лицо Раифа-эфенди, его взгляд словно не от мира сего, лицо, на котором проскальзывало нечто вроде улыбки, когда он случайно встречался с кем-либо глазами. При этом его нельзя было назвать необычным человеком. Он скорее был одним из тех заурядных, ничем не примечательных людей, мимо которых мы, не замечая, проходим каждый день. Его жизнь не смогла бы никого заинтересовать – ни ее скрытые, ни ее видимые стороны. Встречая таких людей, мы часто задаемся вопросом: «Для чего они живут? Что находят они в жизни? Какая логика, какая тайная причина заставляет их ходить по земле и существовать?» Однако, когда мы так думаем о подобных

людях, мы замечаем только внешнее и совсем не задумываемся о том, что и у них есть разум, и они так или иначе мыслят, и результат их мыслей – внутренний мир, у каждого человека свой. Не замечая проявлений этого скрытого мира, мы часто полагаем, что они вовсе не живут духовной жизнью. Если бы мы проявили обычное любопытство, то, возможно, узнали бы что-то, о чем вовсе не подозревали, и столкнулись бы с таким духовным богатством, обнаружить которое совсем не ожидали. Однако люди почему-то предпочитают интересоваться только теми явлениями, о которых заранее все известно. Легче найти героя, который залез бы в колодец с драконом, чем найти того, кто осмелился бы спуститься в колодец, ничего не зная о том, что там его ждет. А то, что я все-таки близко узнал Раифа-эфенди, оказалось делом случая.

После того как я был уволен с маленькой должности в одном из банков (почему меня уволили, я так и не узнал: мне сказали, что просто сокращение, но через неделю на мое место взяли другого человека), я долго искал работу в Анкаре. Некоторое количество денег позволило мне безбедно прожить летние месяцы, но приближавшаяся зима вынуждала смириться с тем, что пришел конец отдыху на тахте в гостях у друзей. У меня не осталось денег даже на то, чтобы продлить карточку на питание, которая через неделю должна была закончиться. Я вновь и вновь расстраивался, когда мои многочисленные попытки устроиться на работу, которые, как я полагал, ничем не закончатся, на самом деле заканчивались ничем. Не получая никаких ответов от знакомых, которых я просил помочь с работой, но получая отказы из магазинов, куда я просился в продавцы, в отчаянии я бродил по городу до полуночи. Кое-кто из друзей иногда приглашал меня выпить, но даже это не позволяло мне забыть о моем отчаянном положении. Самое странное: по мере того как у меня прибавлялось трудностей и мое материальное положение ухудшалось так, что невозможно было дожить до завтра, моя застенчивость и стыдливость усиливались. Встречая на улице знакомых, к которым я раньше обращался за помощью, от кого я не видел ничего дурного, я опускал голову и быстро проходил мимо. Изменилось и мое отношение к приятелям, которых я раньше без смущения просил угостить меня, и у которых прежде, не стесняясь, одалживал деньги. Если меня спрашивали: «Как дела?», я, смущенно улыбаясь, отвечал: «Ничего... Перебиваюсь»

временной работой!» – и сразу сбегал. Насколько я нуждался в людях, настолько же возрастало и мое желание избегать их.

Однажды, под вечер, я медленно брел по пустынной улице между Выставочным центром и вокзалом; глубоко вдыхая необыкновенную анкарскую осень, я хотел настроиться на оптимистический лад. Солнце, отражавшееся от стекол Народного дома^[1] и забрызгавшее здание из белого мрамора пятнами цвета крови, непонятный туман – то ли пар, то ли пыль, – поднимавшийся над молодыми соснами и акациями, молчаливые и сутулые рабочие в рваных робах, возвращавшиеся с какой-то стройки, асфальт, на котором тут и там виднелись следы мокрых автомобильных шин... Все вокруг, казалось, было довольно своим существованием. Хотелось принимать всё как есть, да мне и не оставалось ничего иного. И вдруг мимо меня проехал автомобиль. Я обернулся, лицо за стеклом показалось мне знакомым. А машина, проехав еще несколько метров, остановилась, дверь открылась, из машины высунул голову мой школьный приятель Хамди и окликнул меня.

Я подошел.

– Куда ты идешь? – спросил он.

– Никуда, просто гуляю!

– Поедем ко мне!

Не дожидаясь моего ответа, Хамди подвинулся. По дороге он рассказал, что возвращается домой после осмотра нескольких фабрик, принадлежавших фирме, где он работал.

– Я уже дал домой телеграмму, что скоро приеду. Должно быть, там уже все готово. Иначе я не решился бы тебя пригласить! – добавил он.

Я улыбнулся.

Раньше с Хамди мы часто встречались, но не виделись с тех пор, как я уволился из банка. Я знал, что он работает заместителем директора в какой-то фирме, занимавшейся перепродажей машин, а также производством строевого леса и пиломатериалов, и неплохо зарабатывает. Став безработным, я именно поэтому не обращался к нему: стеснялся, что он решит, будто мне нужна не работа, а деньги.

– Ты все еще в банке? – спросил он.

– Нет, я ушел оттуда, – ответил я.

Он удивился:

– И где же ты работаешь?

– Нигде, – нехотя проговорил я.

Он пристально посмотрел на меня, на то, как я одет, но, должно быть, не пожалел, что пригласил меня в гости, улыбнулся, и, дружески похлопав меня по плечу, сказал:

– Не расстраивайся, сегодня вечером что-нибудь придумаем!

Он выглядел уверенным в себе и довольным жизнью. Значит, он мог позволить себе роскошь делать широкие жесты, помогая знакомым. Я позавидовал ему.

Он жил в маленьком, но симпатичном доме. У него была некрасивая, но приятная жена. Они поцеловались, не стесняясь меня. Хамди, оставив меня, пошел умыться.

Он не представил меня жене, и я в растерянности стоял посреди гостиной. А она стояла у двери, незаметно меня разглядывала и какое-то время, видимо, раздумывала. Затем ей, видимо, пришло в голову предложить мне сесть. Но потом она, скорее всего, решила, что в этом нет необходимости, и потихоньку ушла.

Я задумался, почему Хамди, которого никогда нельзя было назвать небрежным, уделявший много внимания правилам этикета и своим жизненным благополучием отчасти обязанный этой привычке, бросил меня одного. Проявление этой, пожалуй, осознанной небрежности по отношению к своим старинным приятелям, в чем-либо уступающим им, становится одной из главных привычек тех, кто добился важного положения в жизни. Внезапно они начинают вести себя с окружающими по-простому и небрежно, до такой степени, что обращаются на «ты» к тем, кого они прежде называли на «вы». Они перебивают своего собеседника на полуслове, спрашивая о какой-нибудь мелочи, и считают вполне естественным проделывать это из раза в раз с жалостливой и лжемилосердной улыбкой. Я столько раз сталкивался со всем этим в последнее время, что мне даже не пришло в голову рассердиться и обидеться на Хамди. Я решил встать и незаметно уйти, таким образом выйдя из этого затруднительного положения. Но в этот момент пожилая, провинциального вида женщина с покрытой головой, в белом переднике и заштопанных черных чулках молча принесла кофе. Я присел на одно из голубых кресел, расшитых золотыми и серебряными цветами, и огляделся. На стенах были фотографии семьи и портреты артистов, в стороне висела

книжная полочка, должно быть, принадлежавшая хозяйке дома, на которой лежали журналы мод и пара-тройка дешевых романов. Несколько альбомов по истории живописи, аккуратно расставленных под сигарным столиком, были порядком истрепаны – видимо, гостями. Не зная, что делать, я взял один из них, но не успел его раскрыть, как в дверях показался Хамди. Одной рукой он расчесывал влажные волосы, а другой застегивал пуговицы на рукавах белой рубашки европейского покроя с расстегнутым воротником.

– Ну, как ты, рассказывай! – спросил он.

– Да никак. Я уже все рассказал, – ответил я.

Казалось, он был доволен, что встретил меня.

Возможно, потому, что радовался возможности продемонстрировать мне то, чего достиг, или же тешил себя тем, что не оказался в таком положении, как я. Нам свойственно испытывать облегчение, узнав, что людей, когда-то шагавших с нами по жизни, постигли несчастья или что они переживают трудности, словно эти несчастья и трудности миновали нас самих, и мы всегда проявляем милосердие и сострадание к этим несчастным, будто они навлекли на себя беды, которые предназначались нам. Хамди, кажется, испытывал ко мне подобные чувства.

– Пишешь что-нибудь? – поинтересовался он.

– Иногда... Так, стихи, рассказы, – улыбнулся я.

– Ну и как, помогает?

Я снова улыбнулся.

– Брось ты это! – сказал он и пустился в рассуждения о том, сколь успешна жизнь человека, у которого есть серьезная профессия, и о том, что такие бесполезные вещи, как литература, после школьной скамьи не приносят ничего, кроме вреда. Ему даже не приходило в голову, что с ним можно поспорить и ему можно возразить. Он говорил с таким видом, словно читал нравоучение ребенку и совершенно не стеснялся демонстрировать, что этой смелости он набрался именно из-за успехов в жизни. Я удивленно смотрел на него с глупой, как мне казалось, улыбкой на лице, и всем своим видом, наверное, придавал ему еще больше смелости.

– Приходи ко мне в контору завтра утром, – сказал он. – Посмотрим, что-нибудь придумаем. Парень ты способный. Правда, не

очень-то трудолюбивый, но это не страшно. Жизнь и нужда – хорошие учителя. Завтра приходи, разыщи меня! Не забудь!

Говоря все это, Хамди, видимо, напрочь забыл, что сам некогда был одним из первых лентяев в школе. И был уверен, что я не решусь напомнить ему об этом.

Он сделал движение, словно собирается встать. Я вскочил и протянул ему руку:

– С твоего разрешения... Позволь удалиться...

– Еще так рано, дорогой мой! Но... как знаешь!

Я забыл, что он позвал меня на обед, но сейчас внезапно вспомнил об этом. Весь его вид свидетельствовал о том, будто он совершенно забыл, что пригласил меня. Я прошел к двери и взял шляпу:

– Мое почтение госпоже!

– Конечно, конечно! А ты завтра ко мне зайди! Не расстраивайся! – ободрял он, хлопая меня по спине.

Когда я вышел на улицу, уже стемнело, и зажглись фонари. Я глубоко вздохнул. Даже смешанный с пылью воздух показался мне невероятно чистым и освежающим. Я медленно побрел домой.

На следующий день, ближе к полудню, я направился в фирму, где работал Хамди. Между тем вчера, выходя из его дома, я вовсе не собирался этого делать. Он, в общем-то, ничего определенного мне не обещал. Проводил меня ни к чему не обязывающими словами: «Посмотрим, что-нибудь придумаем, что-нибудь сделаем!» – словами, которые я привык уже слышать от других благодетелей. Несмотря на это, я все же пошел. Помимо надежды, во мне почему-то зрело желание почувствовать себя униженным. Я будто хотел сказать себе: «Ты молча его слушал вчера вечером, позволяя ему обращаться с тобой как благодетелю. Так надо довести это до конца, ты это заслужил!»

Секретарша проводила меня в маленькую комнатку и попросила подождать. Когда я вошел в кабинет Хамди, то опять почувствовал, что глупо улыбаюсь, как вчера, и еще больше разозлился на себя.

Хамди разбирал бумаги, разложенные перед ним, и одновременно разговаривал с сотрудниками, которые то и дело входили и выходили. Он указал мне головой на стул и продолжил заниматься своими

делами. Не осмеливаясь пожать ему руку, я сел. Сейчас, перед ним, я действительно был смущен, словно он был моим начальником или благодетелем, и признавал, что достоин такого унижительного обращения. Какая огромная пропасть чуть больше чем за двенадцать часов разделила меня и моего одноклассника, еще вчера вечером усадившего меня к себе в автомобиль! До чего смешны, случайны и пусты правила, определяющие отношения между людьми, как мало общего у них с настоящими человеческими чувствами...

А ведь со вчерашнего дня ни я, ни Хамди не изменились. Какое бы положение мы ни занимали, мы оба были прежними. Однако мы кое-что узнали друг о друге – я о нем, а он обо мне, и именно эти маленькие незначительные подробности развели нас... Что самое странное, мы оба принимали эти перемены как должное и считали естественными. Злился же я не на Хамди, не на себя, а на то, что все-таки пришел сюда.

Когда комната наконец обезлюдела, мой приятель поднял голову и сказал:

– Я нашел тебе работу.

Затем, дерзко и многозначительно посмотрев на меня, он добавил:

– То есть я придумал для тебя работу. Не слишком тяжелую. Будешь вести наши дела в некоторых банках и в особенности в нашем собственном. Будешь кем-то вроде ответственного по связям с банками. А в свободное время будешь сидеть в кабинете и заниматься своими делами. Стихов пиши – сколько хочешь. С директором я уже поговорил, оформим твое назначение. Платить много мы тебе сейчас не сможем: только сорок-пятьдесят лир. В дальнейшем, конечно, повысим. Ну все, давай! Удачи!

Не поднимаясь с кресла, он протянул мне руку. Я пожал ему руку и поблагодарил. На его лице было написано искреннее удовлетворение от того, что он сделал доброе дело. Я подумал, что он, в принципе, совсем неплохой человек и делает то, к чему его обязывает положение, и что, наверное, действительно так и надо. Однако, выйдя из кабинета, я какое-то время стоял в коридоре, раздумывая, идти мне в мой новый кабинет или же все бросить и уйти. Затем я медленно сделал несколько шагов, глядя перед собой, и спросил у первого встречного сотрудника, где кабинет переводчика Раифа-эфенди^[2]. Тот неопределенно махнул рукой в сторону какой-то двери и удалился. Я остановился. Почему я

не могу все бросить и уйти? Неужели я не могу отказаться от сорока лир? Или же я стесняюсь некрасиво поступить с Хамди? Нет! Но моя многомесячная безработица, неясное будущее, поиски работы... А еще моя робость, которая теперь окончательно овладела мной... Все это держало меня в том темном коридоре и заставляло ждать, пока пройдет кто-нибудь еще.

Наконец я наобум приоткрыл одну дверь и увидел Раифа-эфенди. Я не был с ним знаком, но тем не менее сразу узнал человека, согнувшегося над столом. Впоследствии я часто задавался вопросом, почему я сразу узнал его. Хамди говорил мне: «Я велел поставить тебе стол в кабинете нашего немецкого переводчика, Раифа-эфенди. Он тихий, простой человек, никому не мешает». Его все называли «эфенди», в то время как к другим обращались «бай» и «байян»^[3]. Возможно, я узнал его сразу потому, что этот седовласый, плохо выбритый человек в очках в черепаховой оправе, задумчиво посмотревший на меня, очень был похож на человека, которого я себе представлял. Не смутившись, я вошел и спросил:

– Раиф-эфенди – это вы, не так ли?

Сидевший передо мной человек некоторое время рассматривал меня. Затем тихо и немного испуганно сказал:

– Да, я! А вы, кажется, наш новый сотрудник? Вам здесь подготовили стол. Проходите, добро пожаловать!

Я вошел, сел за стол и начал разглядывать выцветшие чернильные пятна и царапины на поверхности, бросая исподтишка взгляды на моего соседа. Мне хотелось тайком рассмотреть его – и составить о нем первое и, конечно же, неверное впечатление, как всегда бывает при встрече с новым, посторонним человеком. Но тут я заметил, что он мною не интересуется, а, склонившись над столом, занят своими бумагами, как будто меня нет совсем.

Так продолжалось до полудня. Я уже смело смотрел на человека напротив меня. Макушка его коротко стриженной головы уже начала лысеть, на шее было множество морщин. Тонкими и длинными пальцами Раиф-эфенди перебирал документы, лежавшие перед ним, и с легкостью переводил их. Иногда он поднимал глаза, словно задумываясь над каким-то словом, которого не мог подобрать, и, когда наши взгляды встречались, на его лице мелькало что-то похожее на улыбку. Его лицо, лицо пожилого человека, было таким простодушным

и наивным, особенно когда он так улыбался, что невозможно было не удивиться. Это впечатление усиливали его рыжие усы с подрезанными кончиками.

Отправляясь около полудня на обед, я увидел, что он остался сидеть на своем месте и, открыв один из ящиков стола, вытащил завернутый в бумагу хлеб и маленькую кастрюльку. Пожелав ему приятного аппетита, я вышел.

Хотя мы целыми днями сидели друг напротив друга в одной комнате, мы почти не разговаривали. Я познакомился со многими сотрудниками из других отделов, по вечерам мы часто уходили вместе и отправлялись куда-нибудь в кофейню поиграть в нарды. Судя по тому, что я узнал, Раиф-эфенди был одним из старейших сотрудников нашей фирмы. Фирма еще не была организована, когда он работал переводчиком в банке, который принадлежал теперь нам, а когда он пришел работать в банк – уже никто не помнил. Говорили, что он содержит большую семью и его денег им едва хватает. Я удивлялся, почему контора, которая сорит деньгами направо и налево, не повысит ему зарплату как работнику с большим стажем, и тогда молодые сотрудники улыбались: «Потому что он – лентяй. Еще неизвестно, хорошо ли он знает язык!» Впоследствии я узнал, что немецкий он знал великолепно и переводы его были весьма точными. Он с легкостью переводил письмо о качестве строевого леса из ясеня и пихты, который должен был прибыть из хорватского порта Сушак, или о том, как работают машины, пробивавшие дыры в шпалах, и о запасных частях к ним. Контракты и соглашения, которые Раиф-эфенди переводил с турецкого на немецкий, директор фирмы, ничуть не сомневаясь, сразу же отправлял по месту назначения. Я видел, что в свободное время он, выдвинув один из ящиков стола, задумчиво читает какую-то книгу, не вытаскивая ее наружу. Однажды я спросил: «Что это такое, Раиф-бей?» Он покраснел, словно я застал его за каким-то грязным делом, и сразу закрыл ящик, пробормотав: «Да так, ничего... Один немецкий роман». Несмотря на это, во всей фирме никто даже и мысли не допускал о том, что он хорошо знает хотя бы один иностранный язык. Они вполне могли так думать, потому что он совершенно не был похож на человека, владеющего иностранным языком. В речи Раифа-эфенди никогда не проскакивало никаких иностранных слов, и никто никогда не слышал, чтобы он говорил, что

знает языки. У него никогда не видели никакой иностранной газеты или журнала. Короче говоря, в нем не было ничего, что делало бы его похожим на людей, которые кричат всем своим существом: «Мы знаем европейские языки!» Это впечатление усиливало еще и то, что он никогда не просил повысить себе зарплату, чтобы она соответствовала его знаниям, и никогда не искал другую, более высокооплачиваемую работу.

По утрам он приходил вовремя, обедал у себя в кабинете, а по вечерам, сделав кое-какие покупки, сразу шел домой. Он ни разу не согласился пойти со мной в кофейню, хотя я приглашал его несколько раз. «Меня ждут дома», – говорил он. «Счастливым отцом семейства, торопитесь скорее домой», – думал я. Позднее я узнал, что все было совсем не так, но об этом речь дальше. Его трудолюбие и усердие не мешали сотрудникам фирмы плохо с ним обращаться. Если наш Хамди находил малейшую опечатку в переводах Раифа-эфенди, то всегда вызывал беднягу, а иногда сам приходил в наш кабинет и устраивал ему нагоняй. Легко было понять, почему мой приятель, намного более осторожный с другими подчиненными и опасавшийся не понравиться молодым людям, каждый из которых пользовался какой-либо протекцией, так грубо обходился с Раифом-эфенди, который, как он знал, никогда не осмелился бы дать ему отпор; и почему из-за перевода, задержанного на несколько часов, он краснел до корней волос и кричал так громко, что было слышно во всем здании... Ведь что еще так сладко опьяняет людей, как не возможность испытать свою силу и власть на себе подобных? Особенно если, вследствие неких тонких расчетов, поступать так можно только с некоторыми определенными людьми.

Раиф-эфенди иногда болел и не приходил на работу. Часто то были всего лишь незначительные простуды. Однако, по его словам, он много лет назад переболел плевритом, и та болезнь сделала его чрезмерно осторожным. При малейшем насморке он не выходил из дома, а если выходил, то надевал несколько толстых шерстяных кофт, на работе никогда не разрешал открыть окно, а под вечер уходил, плотно замотав шею и уши шарфом и подняв воротник теплого, хотя слегка поношенного пальто. Работой он не пренебрегал даже во время болезни. Тексты, которые необходимо было срочно перевести, ему с курьером отсылали домой, а спустя несколько часов забирали обратно.

Несмотря на все это, и директор, и наш Хамди обращались с ним так, словно хотели сказать: «Мы держим тебя, хоть ты и болезненный привереда!» Впрочем, они не стеснялись по любому случаю высказывать ему это в лицо. Когда он отсутствовал несколько дней, а затем приходил, беднягу всякий раз встречали колкостями: «Ну, что? Надеемся, на этот раз все прошло?»

Вместе с тем я тоже уже начал тяготиться Раифом-эфенди. На работе я никогда долго не сидел на месте. С папкой бумаг в руке я обходил банки и государственные учреждения, у которых мы принимали заказы. Время от времени я садился к своему столу, раскладывал по порядку документы и шел отчитаться перед директором или его заместителем. А этот человек, который сидел напротив меня настолько неподвижно, что можно было усомниться, жив он или нет, и выполнял переводы либо читал в ящике своего стола «немецкий роман», казался мне бессмысленным и скучным созданием. Я предполагал, что тот, кому есть что сказать, никогда не совладеет с желанием тем или иным образом высказать это, а такой тихий и равнодушный человек ведет жизнь, не слишком отличающуюся от жизни растений: как машина, он приходит сюда, выполняет свои обязанности; с постоянством, которого я не понимал, читает какие-то книги, а вечером, сделав кое-какие покупки, возвращается домой. Казалось, единственным, что разнообразило его жизнь, каждый день и даже каждый год которой были похожи один на другой, – это дни болезни. Судя по тому, что рассказывали коллеги, он всегда жил так. Его никто никогда не видел чем-то взволнованным. Самые абсурдные, самые несправедливые обвинения начальства он всегда встречал одним и тем же спокойным, ничего не выражающим взглядом; отдавая и забирая свои переводы у секретарей, всегда благодарил их одной и той же ничего не выражавшей улыбкой.

Однажды, из-за опоздавшего – только потому, что секретари не придали должного значения просьбе Раифа-эфенди, – перевода, Хамди, придя в наш кабинет, стал грубо кричать:

– Сколько еще можно ждать? Я же сказал вам – у меня срочное дело, мне надо уехать, мне нужно письмо из венгерской фирмы. А вы так и не принесли мне перевод!

Вскочив со своего стула, Раиф-эфенди пролепетал:

– Я давно закончил, господин директор! Только вот секретари никак не могли напечатать. Сказали, им поручили спешные дела.

– Разве я не говорил вам, что это – самое спешное?

– Да, господин директор! Я тоже им говорил!

Хамди закричал еще громче:

– Вместо того чтобы мне возражать, делайте порученное вам дело! – и, хлопнув дверью, вышел.

Раиф-эфенди следом за ним отправился снова упрашивать секретарей поторопиться.

Во время всей этой бессмысленной сцены я думал о Хамди, который не удостоил меня даже взгляда. В эту минуту Раиф-эфенди вернулся и, сев на свое место, опустил голову. На лице его было то самое непоколебимое спокойствие, которое поражало и даже бесило окружающих. Взяв в руки карандаш, он начал что-то рисовать на бумаге. Он не писал, а просто чертил какие-то линии. Но его действия не были похожи на то, чем обычно, сам того не замечая, занимается нервничающий человек. Мне показалось, что я видел в уголках его губ под рыжими усами улыбку, свидетельствующую о его уверенности в себе. Рука его медленно двигалась по бумаге, и он, то и дело останавливаясь и сощуривая глаза, смотрел перед собой. По этой легкой улыбке, осветившей его лицо, я понимал, что он доволен собой. Наконец он отложил карандаш и принялся рассматривать лист бумаги, на котором рисовал. Я же, не отрываясь, наблюдал за ним. На этот раз у него на лице появилось совершенно иное выражение, и я изумился: в его глазах читалось сочувствие кому-то. От удивления мне не сиделось на месте. Когда он поднялся и опять ушел к секретарям, я немедленно вскочил, одним прыжком оказался у его стола и взял лист, на котором Раиф-эфенди только что рисовал. Взглянув на него, я застыл от изумления.

На листе бумаги размером с ладонь был нарисован Хамди. Это был именно он, и все свойственные ему черты были мастерски изображены с помощью нескольких простых линий. Не думаю, что кто-то другой заметил бы это сходство, если рассматривать портрет по частям, может быть, и вообще бы не нашлось ничего похожего. Однако тому, кто видел, как Хамди среди комнаты кричит во все горло, невозможно было ошибиться. Невыразимо вульгарный, перекошенный от звериной ярости рот застыл прямоугольником; глаза-черточки,

выпученные от бессилия, хотят, казалось бы, продырявить от злости все, что видят; нос с преувеличенно раздутыми, до щек, ноздрями, придает лицу еще более дикое выражение... Да, то был портрет стоявшего здесь несколько минут назад Хамди, а точнее, изображение его души. Главной же причиной моего изумления было иное: с того момента, как я пришел в фирму, на протяжении нескольких месяцев у меня возникали противоречивые мнения о Хамди. Иногда я пробовал простить его поступки, иногда же испытывал к нему презрение. Я пытался сопоставлять его личные, знакомые мне качества с теми, которыми его наделило нынешнее положение в обществе, затем пробовал отделить их друг от друга и запутывался окончательно. А вот Хамди с рисунка, изображенный несколькими умелыми штрихами Раифа-эфенди, был тем человеком, которого я до сих пор никак не мог разглядеть, но которого между тем уже долгое время хотел увидеть. Несмотря на примитивное и дикое выражение его лица, в нем было нечто вызывавшее жалость. Нигде еще не был так ясно изображен человек, до такой степени жестокий и жалкий одновременно. Я словно бы только сегодня по-настоящему узнал моего приятеля, с которым был знаком уже десять лет.

В то же время этот рисунок неожиданно помог объяснить мне и сущность Раифа-эфенди. Сейчас я уже очень хорошо понимал причину его непоколебимого спокойствия и странной стеснительности в отношениях с другими людьми. Разве мог человек, так хорошо понимавший окружающих и так ясно и отчетливо видевший всю суть общавшегося с ним человека, волноваться и на кого-либо сердиться? Что еще мог сделать такой человек, кроме как сохранять стоическое спокойствие перед тем, кто только что бился здесь в истерике, доказывая лишь свое превосходство? Все наши огорчения, все обиды, негодование и гнев начинаются, когда события оказываются неожиданными и непонятными. Разве можно чем-либо взволновать и потрясти человека, готового ко всему и знающего, чего от кого можно ожидать?

Личность Раифа-эфенди снова стала будоражить мое любопытство. Однако я чувствовал, что у меня еще много противоречивых суждений о нем, хотя многое уже прояснилось. Точность всех линий рисунка, который я держал в руке, показывала, что сделал его не любитель. Тот, кто его нарисовал, должен был

заниматься графикой много лет. В этом рисунке воплотился не только взгляд человека, умеющего по-настоящему видеть то, на что он смотрит, но и мастерство художника, способного фиксировать происходящее во всех подробностях.

Дверь открылась. Я хотел быстро положить листок на стол, но не успел. Вошел Раиф-эфенди с переводом письма из венгерской фирмы.

– Очень хороший рисунок, – сказал я, словно извиняясь, и подумал, что он растеряется и испугается того, что я расскажу всем о его тайне. Но ничего подобного не произошло. Улыбнувшись, как всегда, задумчиво и отчужденно, он взял у меня из рук листок с рисунком.

– Много лет назад я недолго занимался живописью, – сказал он. – Иногда я по привычке что-нибудь малюю. Вы же видите, всякую ерунду... Так, от скуки...

Скомкав рисунок, он бросил его в мусорную корзину.

– Машинистки очень быстро напечатали, – пробормотал он. – Наверняка есть ошибки, но если я возьмусь читать, то еще больше рассержу Хамди-бея. И он будет прав. Пойду-ка лучше отдам ему...

Раиф-эфенди снова вышел. Я проводил его взглядом. «И он будет прав, и он будет прав...» – повторял я про себя.

После этого я начал интересоваться всем, что делал Раиф-эфенди, всеми его самыми пустячными и незначительными поступками. Я стал пользоваться каждым удобным случаем поговорить с ним, узнать что-либо, касающееся его подлинной личности. А он будто не замечал моей назойливости. Напротив, он по-прежнему был со мной вежлив, но всегда держался на расстоянии. Как бы внешне ни развивалась наша дружба, внутри он всегда оставался для меня закрытым. Даже когда я познакомился поближе с семьей Раифа-эфенди и с тем положением, которое он в этой семье занимал, мой интерес к нему только усилился. Каждый шаг, который я предпринимал, чтобы приблизиться к нему, навел меня на все новые и новые загадки.

Первый раз я пошел к нему домой во время одной из его обычных болезней. Хамди хотел отправить к нему курьера с переводом, который следовало выполнить к следующему дню.

– Давай лучше я отнесу. Заодно и навещу его, – предложил я.

– Хорошо. Посмотри, что там с ним. В этот раз он что-то слишком долго болеет!

И в самом деле, на этот раз его болезнь длилась дольше обычного. Он не был на работе уже неделю. Один из конторских посыльных объяснил мне, как разыскать его дом в квартале Исмет-Паша. Стояла середина зимы. Вечерело рано. Я отправился в путь. Я шел по кварталам узких улочек с разбитыми мостовыми, которые совсем не были похожи на выложенные асфальтом новые анкарские дороги. Дорога то резко поднималась вверх, то уходила вниз. Прodelав долгий путь и очутившись почти на окраине города, я свернул налево и, зайдя в кофейню на перекрестке, разузнал, где живет Раиф-эфенди. Он жил на нижнем этаже желтого двухэтажного дома, одиноко стоявшего между двух незастроенных участков, заваленных кучами камней и песка. Я позвонил в звонок. Дверь открыла девочка лет двенадцати. Я спросил ее отца. Притворно наморщив личико и скривив губы, она сказала:

– Проходите, пожалуйста!

Внутри дом выглядел совсем не так, как я предполагал. В просторной прихожей, которая явно использовалась как столовая, стоял большой складной стол, у стены располагался буфет с хрустальной посудой. На полу лежал красивый сивасский ковер^[4], а из кухни, расположенной в боковой части дома, вкусно пахло едой. Сначала девочка провела меня в гостиную. Здесь все вещи тоже были красивыми и на вид довольно дорогими. Красные кресла, обитые бархатом, низкие сигарные столики из ореха и огромное радио у стены заполняли пространство. По всем сторонам – над столиками и за креслами – висели кремового цвета кружева тонкой работы и суннитская акыда^[5] в рамочке, выписанная вязью в виде корабля.

Через несколько минут девочка принесла кофе. На ее лице все время было одно и то же капризное выражение, словно бы она хотела поиздеваться надо мной. Забирая у меня чашку, она сообщила:

– Папа болен, сударь, и не может встать с постели. Пожалуйста, проходите в его комнату. – Произнося это, она всем своим видом показывала, что я недостоин такого благородного обращения.

Войдя в комнату, где лежал Раиф-эфенди, я совершенно изумился. Маленькая комната, в которой стоял ряд белых коек, совершенно непохожая на другие части дома, напоминала скорее спальню в школе-интернате или больничную палату. Раиф-эфенди полулежал на одной из них под белыми одеялами и приветствовал меня, глядя из-под очков.

Я поискал стул, чтобы сесть. Однако оба стула, имевшиеся в комнате, были завалены шерстяными кофтами, женскими чулками, несколькими снятыми и брошенными тут же шелковыми платьями. У одной из стен стоял платяной шкаф, крашенный в цвет гнилой вишни, и в приоткрытую дверцу виднелись висевшие как попало платья, женские костюмы, а под ними – узлы с одеждой. В комнате царил невероятный беспорядок. На тумбочке в изголовье у Раифа-эфенди на жестяном подносе была забыта, по-видимому с обеда, грязная тарелка из-под супа, открытый маленький графин, а рядом какие-то лекарства в тюбиках и баночках.

Больной, указав в изножье кровати, сказал:

– Садитесь сюда, голубчик!

Я кое-как присел. На спину у него была накинута пестрая шерстяная женская кофта, протершаяся на локтях до дыр. Он лежал, прислонившись головой к белой металлической спинке кровати. Его одежда висела кучей на кровати у него в ногах, там, где я сидел.

Почувствовав, что я рассматриваю комнату, хозяин дома сказал:

– Я сплю здесь вместе с детьми... Это они устраивают беспорядок... Да и дом маленький, мы не помещаемся...

– У вас большая семья?

– Довольно большая... У меня взрослая дочь, она ходит в лицей. И еще та, которую вы видели... Затем моя свояченица и ее муж, два шурина... Живем все вместе. У моей свояченицы тоже есть дети... Двое... Проблема с жильем в Анкаре известна всем. Разъехаться нет никакой возможности...

В это время снаружи зазвенел звонок, по шуму и громким разговорам я догадался, что пришел кто-то из членов семьи. Дверь открылась. В комнату вошла полная женщина лет сорока с подстриженными волосами, спадавшими на лицо. Наклонившись, она прошептала что-то на ухо Раифу-эфенди. Не ответив ей, он представил меня:

– Мой сослуживец. А это моя супруга, – указал он на нее.

Затем, повернувшись к жене, сказал:

– Возьми из кармана моего пиджака.

На этот раз, уже не наклоняясь к его уху, женщина проговорила:

– Послушай, я пришла не за деньгами, а спросить, кто пойдет в магазин... Ты же совсем не вставал!

– Пошли Нуртен. Магазин в двух шагах.

– Как это я ночью пошлю в лавку маленького ребенка? В такой холод... А потом, она же девочка... Да и разве она меня послушается?

Раиф-эфенди подумал какое-то время, но все же, покачав головой, сказал:

– Пойдет, пойдет! – и посмотрел перед собой.

Когда жена вышла, он повернулся ко мне.

– В нашем доме и хлеб купить – проблема... Стоит мне заболеть – им за хлебом послать некого!

Словно и мне было до этого дело, я спросил:

– Ваши шурины маленькие?

Он посмотрел мне в глаза, ничего не ответив. По выражению его лица создавалось впечатление, будто он совершенно не слышал моего вопроса. Но через несколько минут сказал:

– Нет, они не маленькие. Оба работают. Служащие, как и я. Свояк работает в Министерстве экономики, он их обоих устроил на работу. Они не учились, у них даже школьного диплома нет. – Затем он внезапно спросил: – Вы принесли что-нибудь на перевод?

– Да... Сказали, надо к завтрашнему дню. С утра пришлют курьера.

Он взял бумаги и положил рядом с собой.

– А я хотел осведомиться о вашем здоровье.

– Большое спасибо... Болезнь затянулась. Никак не могу отважиться встать!

В его глазах светилось странное любопытство. Он словно бы пытался понять, был ли мой интерес к нему искренним. Чтобы заставить его поверить в это, я был готов на многое, но его глаза, в которых я впервые увидел отражение какой-то эмоции, очень быстро приняли прежнее бессмысленное выражение, а на лице появилась обычная, ничего не выражающая улыбка.

Вздыхнув, я поднялся. Внезапно он выпрямился и взял меня за руку:

– Большое спасибо, что вы пришли, сынок! – сказал он.

В его голосе слышалось тепло. Казалось, он догадался, что во мне происходило.

И действительно, с этого дня между мной и Раифом-эфенди установилась некая близость. Я не могу сказать, что он стал как-то по-другому себя со мной вести. Мне даже не пришло бы в голову утверждать, что он стал откровенным, открытым со мной. Он остался тем же скрытным, молчаливым человеком. Между тем иногда по вечерам мы вместе выходили с работы и шли пешком до его дома, и даже, бывало, заходили к нему, посидеть за чашечкой кофе в гостиной с обитой красным бархатом мебелью. Но в это время мы либо вообще не разговаривали, либо разговаривали о пустяках: об анкарской дороговизне либо о разбитых мостовых в квартале Исмет-Паша. Он редко вел речь о доме и о домашних. Иногда невзначай ронял: «Наша девочка опять получила двойку по математике!», но тут же менял тему разговора. А я стеснялся его расспрашивать. Первое впечатление от его семьи было не очень приятным.

Когда я вышел от больного и шел через прихожую, двое молодых людей и девушка пятнадцати-шестнадцати лет, сидевшие вокруг большого стола в центре комнаты, не дожидаясь, пока я повернусь спиной, склонились друг к другу и стали перешептываться и смеяться. Я знал, что во мне нет ничего смешного, но они, как и все пустые люди в их возрасте, были из тех, кто считал, что смеяться в лицо впервые встреченному человеку является своего рода признаком превосходства. Даже маленькая Нуртен корчилась от смеха, чтобы угодить сестре и дядям. Впоследствии всякий раз, когда я бывал в том доме, я встречал то же самое. Я тогда тоже был молод, мне не исполнилось двадцати пяти лет, но странная привычка, которую я замечал у некоторых молодых людей, – склонность воспринимать человека, которого они не знают и которого видят впервые, как нечто весьма забавное, – вызывала у меня удивление. Я стал замечать, что и положение Раифа-эфенди здесь не очень приятное и что в этом скопище людей он выглядит ненужным и лишним.

Позднее я подружился со всеми этими ребятами. Они были совсем неплохими людьми, только совершенно пустыми. А все глупости и неуместные выходки совершали именно от этого. Внутреннюю, все увеличивающуюся пустоту они могли заполнить, лишь унижая других людей, презируя и насмехаясь над ними, подмечая их необычные качества. Я прислушивался к их разговорам. У Ведата и Джихата, бывших мелкими служащими в Министерстве

экономики, не было других дел, кроме как сплетничать о сослуживцах, а у старшей дочери Раифа-эфенди, Неджли, – об одноклассниках, подмечая точно такие же странности в поведении и в одежде, какие, впрочем, были у них самих.

– Помнишь, в каком платье Муалла была на свадьбе? Ха-ха-ха!

– Ты бы видела, как она отшила нашего Орхана, – ха-ха-ха!

Ферхунде-ханым, свояченица Раифа-эфенди, была в состоянии думать только о своих двух детях – трех и четырех лет – и о том, как, едва найдя удобный момент, оставить их старшей сестре и, наспех нарядившись и надев шелковое платье, отправиться гулять. Я видел ее несколько раз, когда она, стоя перед зеркалом, аккуратно надевала шляпку с вуалью на крашенные и завитые волосы. Хотя она была еще достаточно молода, лет тридцати, кожа вокруг глаз и рта у нее была в морщинках. Ее ярко-голубые глаза никогда не задерживались на чем-либо долго и выражали неизбывную внутреннюю тоску, на которую она была обречена с самого рождения. Она постоянно ругала своих детей – вечно неопрятных, бледных, с перепачканными ручками и личиками, словно они были наказанием, насланным ей неизвестным заклятым врагом; когда она наряжалась, готовясь отправиться на прогулку, она не знала, как отогнать их от себя, чтобы они не касались ее и не пачкали ей платье грязными руками.

Муж Ферхунде-ханым, Нуреттин-бей, служил начальником одного из отделов в Министерстве экономики и был разновидностью нашего Хамди. Ему было примерно тридцать – тридцать два года, он постоянно заботливо взбивал свои вьющиеся светло-каштановые волосы и зачесывал их назад, словно подмастерье в парикмахерской. И даже когда просто спрашивал «Как ваши дела?», он плотно сжимал губы и слегка покачивал головой с таким видом, словно изрек великую мудрость. Когда Нуреттин-бей с кем-нибудь разговаривал, он неподвижно смотрел собеседнику в лицо, и в это время в его глазах блуждала улыбка, словно бы говорившая: «Послушайте, и вы это хотели мне сказать? Да что вы об этом знаете?»

Окончив ремесленное училище, он почему-то был отправлен в Италию изучать кожевенное дело, но там лишь освоил немного итальянский язык и научился принимать вид важного человека. Вместе с тем у него были немалые способности, чтобы добиться успеха в жизни. Он с большой уверенностью видел себя достойным весьма

важных постов и постоянно высказывал свои замечания относительно любого вопроса, вне зависимости от того, понимал он в нем что-нибудь или нет, и при этом, относясь с пренебрежением ко всем без исключения, он убеждал окружающих в своей собственной значимости. (Я полагаю, что домашние Раифа-эфенди приобрели манеру подсмеиваться над окружающими именно от его зятя, которым они все восхищались.) К тому же Нуреттин-бей тщательно следил за своей внешностью: каждый день брился, требовал тщательно гладить ему его поношенные брюки, за чем присматривал лично, и мог посвятить целый выходной день походу по магазинам, лишь бы найти самые шикарные ботинки и самые чудесные носки. И это при том, что его жалованья едва хватало на одежду ему и его жене. А поскольку оба шурина получали по тридцать пять лир каждый, то все расходы по дому ложились на хилую зарплату нашего Раифа-эфенди. Несмотря на это, в доме пользовались авторитетом все, кроме бедного старика. Жена Раифа-эфенди, Михрие-ханым, совершенно состарившаяся к своим сорока годам, с дряблым телом, отвисшей до пояса грудью, невероятно толстая, проводила весь день на кухне у плиты, а в свободное время ставила заплаты на кучи детских носков и приглядывала за избалованными «шалунишками» своей сестры; несмотря на все это, она тоже никак не могла угодить домашним. Никто из них не спрашивал, как живет дом, все только полагали, что достойны лучшей жизни, и каждый вновь и вновь выказывал неудовольствие, кривясь на всё и ругая приготовленную еду. Когда Нуреттин-бей возмущался: «Ну что это такое, Михрие, голубушка?», он словно бы хотел сказать: «Ради бога, скажите, на что уходят сотни лир, которые я даю?» Братья Михрие, носившие дорогие шарфы, совершенно не стеснялись заставлять свою старшую сестру вставать из-за стола и отправляться на кухню, требуя: «Мне не нравится еда, иди свари мне яйцо!» или: «Я не наелся, поджарь мне колбасы!». Однако когда требовалось несколько курушей^[6], чтобы купить на вечер хлеба, они жалели выделить их из своего кармана и будили больного Раифа-эфенди, дремавшего у себя в комнате. Словно и этого было недостаточно, они злились, что он долго болеет и сам не может сходить в магазин.

В противоположность неразберихе в невидных постороннему частях дома, в прихожей и в гостиной царил порядок, который до

известной степени был делом рук Неджли. Однако другие домашние считали уместным таким образом скрывать истинное лицо своего дома перед многочисленными приятелями.

Поэтому они были готовы даже лично годами выплачивать кредиты мебельным магазинам, хотя это доставляло всем множество трудностей. Зато обитая красным бархатом мебель заставляла гостей дома одобрительно покачивать головами, радио на двенадцати лампах было способно вещать на весь квартал, а набор позолоченных хрустальных стаканов, расставленных в застекленном буфете, всегда подчеркивал достоинства Нуреттина-бея в глазах приятелей, которых он часто приводил пропустить стаканчик-другой раки.

Несмотря на то что весь груз хозяйственных забот нес на своих плечах Раиф-эфенди, домашним было все равно – есть он или нет. Все – от мала до велика – будто не замечали его. Они не разговаривали с ним ни о чем, кроме денег и насущных потребностей; часто они предпочитали вообще решать все вопросы через Михрие-ханым. Словно бездушную машину, выставляли они его по утрам из дому, надавав ему поручений, и по вечерам он возвращался с полными сумками. Даже Нуреттин-бей, который еще лет пять назад, когда просил руки Ферхунде-ханым, хвостом ходил за Раифом-эфенди и делал все, чтобы ему понравиться, а после помолвки никогда не приходил в дом с пустыми руками, лишь бы порадовать будущего свояка, теперь словно тяготился тем, что ему приходится жить в одном доме с таким бесполезным человеком. Домашние сердились на Раифа-эфенди за то, что он не зарабатывает достаточно и не обеспечивает их роскошью еще больше, но в то же время убежденно считали его пустым местом. Даже его дочь Нуртен, учившаяся в начальной школе, и Неджлей, напоминавшая вполне разумного человека, – возможно, под влиянием дядей и тетки с мужем – следовала общему отношению, сложившемуся в семье к отцу. В проявлениях их дочерней любви чувствовалась небрежность наемных работниц; они ухаживали за отцом во время болезни, но с усердием, похожим на ложное сострадание, которое обычно демонстрируют беднякам. И только его жена, Михрие-ханым, чуть отупевшая от забот о хлебе насущном за годы тяжких трудов, не становившихся легче ни на мгновение, занималась своим мужем, делая все, чтобы дети его не презирали и обращались с ним хорошо.

Когда на ужин приходили гости, она, чтобы не давать повода Нуреттин-бею либо своим братьям громко приказывать Раифу-эфенди сходить в магазин, потихоньку отводила мужа в спальню и, понизив голос, просила: «Сходи купи в бакалее восемь яиц и бутылку раки, не надо сейчас никого из-за стола поднимать». Она уже не задумывалась, почему ее муж и сама она не за этим столом, но если они раз в сто лет и оказывались там, то по обыкновению встречали недовольные взгляды, словно из-за их появления всем делалось неловко. Впрочем, возможно, сама Михрие-ханым ничего не замечала.

Раиф-эфенди проявлял по отношению к жене странную нежность. Он будто жалел эту женщину, которая, казалось, месяцами не находила времени, чтобы надеть что-то иное, кроме кухонного халата. Иногда он спрашивал:

– Ну как, жена, сегодня очень устала?

Иногда, усадив ее перед собой, он обсуждал с ней, как обстоят дела у детей в школе и какие предстоят расходы на будущих праздниках.

В отношениях с другими домашними он не проявлял ни малейшей духовной привязанности. Иногда он подолгу смотрел на старшую дочь, будто ждал от нее тепла и нежности. Но это обычно длилось недолго; девочка вдруг начинала глупо жеманничать и беспричинно смеяться, и между ними словно разверзалась пропасть.

Я много думал об этой стороне жизни Раифа-эфенди. Такой человек, как он – а какой он человек, я и не знал, хотя был уверен, что не такой, каким выглядит, – да, такой человек был не в состоянии просто уйти, лишь захотев, от самых близких людей. Проблема заключалась в том, что его близкие так и не узнали, что он за человек, а он был не из тех, кто прилагает какие-либо усилия, чтобы дать себя узнать. Поэтому ничто не могло растопить лед между ними и устранить ужасное отчуждение, которое все эти люди испытывали друг к другу. Люди ведь знают, как сложно бывает познать друг друга, но вместо того чтобы пытаться делать это нелегкое дело, предпочитают двигаться наобум, как слепцы, а о существовании друг друга узнавать из взаимных столкновений.

Раиф-эфенди, как я говорил, словно бы ожидал чего-то только от Неджли, своей старшей дочери. В этой девочке, мимикой, манерой речи и жестами подражавшей своей крашеной тетке и все познания

черпавшей в заумных словесах ее муженька, под толстой внешней скорлупой, казалось, оставалось что-то подлинно человеческое. Она часто ругала сестру Нуртен, которая словно бы старалась довести беспардонное поведение по отношению к отцу до оскорбительной степени, и в ее словах иногда чувствовалось истинное возмущение, а иногда, когда за столом или в комнатах о Раифе-эфенди говорили особенно непочтительно, она вообще выходила, с силой хлопнув дверью. Однако такие случаи были лишь проявлениями ее скрытой подлинной человечности, которая иногда шевелилась в ней, хотя фальшь, которую годами кропотливого труда создавало в ней ее окружение, была в ней настолько сильна, что не позволяла полностью проявиться ее истинной сущности.

Я же, с нетерпимостью, порожденной, вероятно, моей молодостью, сердился на эту почти пугающую безгласность Раифа-эфенди. Он не только мирился с тем, что и дома, и на работе люди, абсолютно чуждые ему по духу, не считали его человеком, но даже считал это по-своему уместным. Хотя я знал, что люди, истинную сущность которых окружающим не понять и о которых постоянно судят ошибочно, начинают испытывать гордость и горькое удовольствие от своего одиночества, я никогда не мог даже подумать, чтобы такие люди считали подобное поведение окружающих правильным.

Разные признаки свидетельствовали о том, что Раиф-эфенди вовсе не был бесчувственным человеком. Напротив: он был очень впечатлителен, весьма проницателен и деликатен. От его неподвижного взгляда, всегда словно застывшего перед собой, ничто не ускользало. Однажды он услышал, как дочери тихо препирались за дверью из-за кофе, который должны были принести мне: «Нет, ты приготовь! – Нет, ты!», но ничего не сказал. А когда через десять дней я снова пришел к ним, он сразу громко сказал из комнаты:

– Кофе не варите, он не пьет!

Он поступил со мной так, как поступают с близкими людьми, хотя сделал это с целью не допустить повторения ситуации, которая была тяжела ему, а это привело к тому, что я еще больше к нему привязался.

Мы все еще ни о чем важном не говорили. Но теперь это меня не удивляло. Разве не была его тихая, безмолвная жизнь, его терпение, сострадание, с каким смотрел он на людские слабости, а на грубости –

с насмешкой, разве не было все это выразительно само по себе? Разве не чувствовал я всей душой, что рядом со мной во время наших прогулок идет настоящий человек? В это время я понял, почему для того, чтобы люди искали, находили и наблюдали за внутренним миром друг друга, разговоры вовсе не обязательны; и почему некоторым поэтам, любующимся красотами природы, бывает нужен человек, который просто молча идет рядом. Хотя сам я не знал толком, чему научился у того, кто молча шел рядом со мной и кто всегда безмолвно работал напротив меня, я был уверен, что научился у него гораздо большему, нежели мог бы научиться у кого-нибудь, кто бы поучал меня годами.

Я чувствовал, что тоже нравлюсь Раифу-эфенди. Теперь он, кажется, не испытывал в отношении меня той боязни и смущения, которое испытывал ко всем людям и в том числе ко мне, когда мы только познакомились. Лишь иногда он внезапно становился отчужденным, глаза его теряли всякое выражение, сужались, а когда с ним заговаривали, отвечал тихим, но препятствовавшим всякому сближению голосом. В такие мгновения он забывал о переводах и, откладывая карандаш в сторону, часами смотрел перед собой, на лежащие перед ним бумаги. Я чувствовал, что в такие минуты он уходит по ту сторону пространства и времени, никого не впуская туда, и даже не пытался приблизиться. Меня беспокоило лишь одно: я заметил, что болезни Раифа-эфенди по странной случайности начинались чаще всего именно в такие дни. Причину этого мне предстояло вскоре узнать, но при весьма печальных обстоятельствах. Однако расскажу все по порядку.

Однажды в середине февраля Раиф-эфенди вновь не пришел на работу. Ближе к вечеру я зашел к нему домой. Дверь открыла его жена, Михрие-ханым.

– А, это вы? Пожалуйста! Он недавно заснул... Хотите, я его разбужу?

– Нет-нет! Не беспокойте его... Как он себя чувствует? – спросил я.

Женщина провела меня в гостиную:

– У него жар. На этот раз жалуется на острую боль! – Затем жалобно всхлипнула: – Ах, сынок! Он совсем не следит за собой... А ведь не ребенок... Мрачнеет вдруг отчего-то, когда ничего не

случилось. Что с ним – не знаю... С ним бывает даже невозможно поговорить... Отворачивается и уходит... А затем вот так вдруг сляжет...

В это время из соседней комнаты послышался голос Раифа-эфенди. Она немедленно побежала туда. Я удивился. Разве этот человек, который так следил за своим здоровьем и не знал, как бы получше себя защитить, заматываясь в шерстяные шарфы и свитера, мог быть столь небрежен с собой?

Михрие-ханым снова вошла и сказала:

– Оказывается, когда в дверь позвонили, он проснулся. Пожалуйста, проходите!

На этот раз Раиф-эфенди показался мне довольно слабым. Он был бледен и часто дышал. Его всегдашняя наивная улыбка напоминала теперь ехидную ухмылку, искажавшую черты его лица. Его глаза, смотревшие поверх очков, будто ввалились.

– Что с вами опять, Раиф-бей? Выздоровливайте скорее! – сказал я.

– Спасибо!

Его голос звучал немного глухо. Когда он кашлял, у него хрипело в груди, и она содрогалась.

Чтобы поскорее проявить участие, я спросил:

– Как же это вы заболели? Должно быть, простуда!..

Он молча смотрел на белую простынь. Маленькая железная печка, втиснутая между белыми кроватями его жены и детей, нагрела комнату слишком сильно. Несмотря на это, мой собеседник выглядел озябшим. Натянув одеяло до самого подбородка, он сказал:

– Да, я, наверное, простудился! Вчера после ужина я ненадолго вышел на улицу...

– Вы куда-то ходили?

– Нет, просто захотелось побродить... Не знаю... Наверное, скучно стало.

Меня удивило, что ему стало отчего-то скучно.

– Я, должно быть, слишком долго шел пешком. Ходил в сторону Сельскохозяйственного института. Дошел до подножия холма Кечиорен. Быстро шел, что ли... Мне стало жарко... Я расстегнул пальто... Да и ветрено было... Мелкий снег вчера шел... Замерз, наверное...

Долго гулять по пустынным улицам ночью, под снегом и ветром, с раскрытой грудью было совершенно непохоже на Раифа-эфенди.

– Вас что-то расстроило? – спросил я.

Он поспешно ответил:

– Что вы! Вовсе нет. Так, бывает иногда... Хочется погулять одному. Кто знает, может, устал вчера, или домашняя болтовня утомила.

И тут же, испугавшись, будто сказал лишнее, торопливо добавил:

– Наверное, так бывает, когда люди старятся! Разве мои домашние в чем-то виноваты?

За дверью опять раздался шум и громкие разговоры. Старшая дочь, вернувшаяся из школы, вошла в комнату и поцеловала отца в щеку:

– Как ты, папочка?

Затем, повернувшись ко мне, поздоровалась за руку:

– Вот так всегда, сударь... Иногда ему взбредет что-то в голову, говорит: «Пойду ненадолго в кофейню», – а затем то ли там простужается, то ли по дороге, понятия не имею, и внезапно заболевает... Сколько раз уже так было. Что там в той кофейне – непонятно!

Сдернув с себя пальто и бросив его на табурет, она вышла. Казалось, что Раиф-эфенди привык к такому ее обращению и не придавал этому особенного значения.

Я посмотрел в глаза больному. Он тоже перевел взгляд на меня, но в этом взгляде не было ни объяснения, ни удивления. Мне было интересно не то, почему он обманывает домашних, а то, почему он говорит правду мне. Я даже испытывал от этого легкую гордость: гордость, что я ближе к этому человеку, чем кто-либо другой.

Когда я вышел на улицу и направился домой, я задумался. Разве не был Раиф-эфенди в действительности самым простым и внутренне довольно пустым человеком? Ведь в его жизни не было ни цели, ни страстей, было ясно, что его не интересовали даже те, кто был ему ближе всех... В таком случае что не давало ему покоя? Не эта ли внутренняя пустота, не бесцельность ли жизни гнали его на улицу в ночь?

В это время я заметил, что уже подошел к гостинице, в которой тогда жил. Здесь мы делили с одним приятелем комнатку, в которую с

трудом вмещались две кровати. Был девятый час. Мне не хотелось есть, и я решил подняться к себе в комнату немного почитать, но тут же передумал: в кафе на первом этаже гостиницы обычно именно в это время включали на полную громкость граммофон, и певица-сирийка из бара, жившая в комнате неподалеку от нас, приводя себя в порядок перед работой, распевала самые визгливые арабские песни. Повернув назад, я пошел по шоссе по направлению к Кечиорен. Сначала по обеим сторонам дороги шли автомастерские и грязные забегаловки. За ними, справа к верху холма, шли дома, а слева, в небольшом овраге, – уже сбросившие листву сады. Я поднял воротник. Дул резкий сырой ветер. У меня было страстное желание куда-то бежать, которое обычно появлялось, только когда я бывал пьян. Мне казалось, что я смогу идти много часов, много дней напролет. Забывшись, я не смотрел по сторонам, и не заметил, что уже прошел приличное расстояние. Ветер усилился, казалось, какая-то сила толкала меня в грудь, и мне было приятно идти вперед, борясь с этой силой.

Внезапно я задумался, почему я сюда пришел... Просто так. Никакой причины не было. Я пришел сюда без всякой цели. Деревья по обочинам стонали от ветра, а облака неслись по небу. Черные скалистые холмы вдалеке еще было слегка видно, и казалось, что касавшиеся их облака, пролетая, оставляют там часть себя. Зажмурившись, я продолжал шагать вперед и вдыхал сырой воздух. В голове вновь возник вопрос: почему я пришел сюда? Ветер был похож на тот, который дул вчера вечером, может быть, через какое-то время и снег мог пойти... Вчера в то же время здесь шел, почти бежал другой человек в запотевших очках, сжимая в руке шапку и расстегнув на груди пальто... Ветер раздувал его короткие редкие волосы и обдувал снаружи его разгоряченную голову. Что таилось в той голове? Зачем эта голова притащила сюда то старое, больное тело? Я пытался представить себе, как шел здесь Раиф-эфенди темной холодной ночью, какое выражение было на его лице. Теперь я понял, почему сам пришел сюда: я предполагал, что здесь лучше пойму его и почувствую, что происходило у него на душе. Но не чувствовал ничего, кроме ветра, который пытался сорвать мою шапку, не видел ничего, кроме гудевших деревьев и бежавших по небу облаков, стремительно принимавших самые разные формы. Жить там, где жил он, не значило

жить так, как он... Пытаться понять его таким способом мог только такой наивный и такой беспечный человек, как я.

Я быстро вернулся в гостиницу. Музыка и пение сирийки в кофейне прекратились. Мой приятель, растянувшись на кровати, читал книгу. Он покосился на меня и спросил:

– Ты что это, с гулянки пришел?

Как же хорошо люди понимают друг друга! А я еще надеялся разобраться в том, что в голове у другого человека, хотел заглянуть в его спокойную либо смятенную душу. Как, оказывается, сложна и запутанна душа самого, казалось бы, простого, самого несчастного, пускай даже самого глупого человека на земле – душа, способная повергнуть в изумление любого!.. Почему мы так не хотим понять это и почему полагаем, что постичь существо по имени человек и судить о нем – одна из самых легких задач? Почему, в то время как мы не говорим о свойствах сыра, который впервые пробовали, мы выносим окончательное суждение о человеке, которого встретили в первый раз?

Я долго не мог заснуть. Раиф-эфенди лежал в жару на кровати, укрытый белой простыней, вдыхая наполнявший комнату запах молодых тел дочерей и усталого тела жены. Глаза его были закрыты, но кто знает, кто знает, где бродила его душа?..

На сей раз болезнь Раифа-эфенди длилась долго. Это не было похоже на его обычную простуду. Пожилой врач, которого привел Нуреттин-бей, посоветовал горчичники и прописал лекарство от кашля. Я заходил вечером раз в два-три дня и каждый раз находил его еще более ослабевшим. Но сам он не особо беспокоился и выглядел так, будто не придает значения своей болезни. Возможно, он стеснялся волновать домашних. Однако Михрие-ханым и Неджля были в таком состоянии, что можно было и в самом деле забеспокоиться. Женщина, которая, казалось, за много лет непрерывного тяжелого труда вообще разучилась соображать, в большой растерянности то и дело входила и выходила из комнаты больного; роняла полотенце или тарелку, когда ставила ему горчичники, то и дело забывала что-то в комнате или за дверью и постоянно искала что-то у себя по карманам. Я до сих пор вижу, как она бежит взад и вперед в своих стоптанных тапках без задника, и до сих пор чувствую на себе ее застывший в растерянности взгляд, которым она словно бы просила поддержки у каждого, с кем

встречалась. Неджля, хотя и не была растеряна так, как мать, была очень расстроена. В последние дни она не ходила в школу и ухаживала за отцом. Когда я по вечерам приходил проведать больного, я замечал по ее покрасневшим и опухшим глазам, что она плакала. Все это, казалось, еще больше удручало Раифа-эфенди. Когда мы оставались наедине, он жаловался мне, а один раз даже проговорил:

– Ну что же это с ними происходит? Разве я уже умираю? А даже если и умру – ну и что... Им-то что? Кто я им?.. – А затем добавил – горько и безжалостно: – Я для них – ничто... Ничто... Много лет мы жили вместе в одном доме... Они даже не интересовались – кто этот человек... А сейчас все испугались, что я уйду навсегда...

– Ради бога, Раиф-бей, – попытался успокоить его я. – Разве можно так говорить... Они и в самом деле чересчур сильно волнуются, но объяснять это подобным образом нехорошо... Это же ваша жена и ваша дочь!

– Да, моя жена и дочь... Но только и всего...

Он отвернулся. Я не понял последних его слов, но постеснялся о чем-либо спрашивать.

Нуреттин-бей, чтобы успокоить домашних, привел терапевта. Этот человек долго осматривал больного, а затем сказал, что у того воспаление легких. Увидев, что окружающие в замешательстве, он добавил:

– Да не беспокойтесь вы, все не так серьезно! Слава богу, организм у него крепкий и сердце здоровое, поправится. Только надо быть внимательными... Следите, чтобы он не мерз. Даже лучше будет, если вы отправите его в больницу!

Услышав словно «больница», Михрие-ханым совсем растерялась. Опустившись на табурет, она заплакала навзрыд. Нуреттин-бей наморщился, словно предложение врача затрагивало его честь.

– С какой стати? – возмутился он. – Дома за ним будут ухаживать лучше, чем в больнице!

Доктор, пожав плечами, ушел.

Сначала Раиф-эфенди и сам хотел ехать в больницу.

– По крайней мере, там я отдохну! – говорил он. По его виду ясно было, что он хочет побыть один, но, увидев, как сильно возражают против этого домашние, перестал спорить. С безнадежной улыбкой он пробормотал: – Все равно они меня и там не оставят в покое!

Однажды, я до сих пор помню, это было в пятницу вечером, я сидел на табурете в изголовье Раифа-эфенди и слушал, как он хрипло дышит. В комнате больше никого не было. Громко тикали большие карманные часы, лежавшие рядом на тумбочке среди пузырьков с лекарствами. Больной, открыв ввалившиеся глаза, пробормотал:

– Мне сегодня немного лучше!

– Конечно же... Ведь не может это все время продолжаться...

Тогда, печальным голосом, он спросил:

– А сколько это еще будет продолжаться?..

Я понял истинный смысл его вопроса, и мне стало страшно. Звучавшая в его голосе тоска давала понять, что он имел в виду.

– Что с вами, Раиф-бей? – тихо спросил я.

Глядя мне в глаза, он твердо спросил:

– Зачем все это? Разве уже не хватит?

В это время вошла Михрие-ханым. Подойдя ко мне, она сказала:

– Сегодня ему лучше! Даст бог, он поправится и на этот раз!

Затем повернулась к мужу:

– В воскресенье будем стирать. Хорошо бы, если б господин принес полотенце!

Раиф-эфенди утвердительно кивнул. Женщина поискала что-то в шкафу и снова вышла. Все ее переживания и волнения улетучились, стоило больному почувствовать себя лучше. Сейчас голова ее вновь была забита домашними делами, приготовлением еды и стиркой белья. Как и все простые люди, она очень быстро переходила от печали к радости, от волнения к спокойствию и, как все женщины, очень быстро обо всем забывала. В глазах Раифа-эфенди светилась грустная задумчивая улыбка. Показав головой на пиджак, висевший на спинке кровати, он сказал:

– Там в правом кармане должен быть ключ, возьми его, открой верхний ящик моего стола. Принеси полотенце, о котором жена говорила... Я, право, тебя утруждаю...

– Принесу завтра вечером!

Устремив глаза в потолок, он долго молчал. Потом внезапно повернулся ко мне и сказал:

– Принеси все, что там, в ящике, будет! Все, что есть... Жена, кажется, почувствовала, что на работу я больше не пойду... Наш путь теперь в другие края...

Его голова вновь откинулась на подушку.

На следующий день под вечер, перед тем, как уйти с работы, я подошел к столу Раифа-эфенди. Справа было три ящика, один над другим. Сначала я открыл нижние: в первом было пусто, в другом лежало несколько бумаг и черновики переводов. Засовывая ключ в верхний ящик, я похолодел: я заметил, что сижу на том же месте, где на протяжении многих лет сидел Раиф-эфенди, и повторяю действия, которые он повторял каждый день. Я быстро выдвинул ящик. На первый взгляд в нем было пусто. Только сбоку лежало довольно грязное полотенце, кусок мыла, завернутый в газетную бумагу, котелок, вилка и складной нож марки «Зингер» со штопором. Я быстро завернул все это в бумагу. Задвинув ящик, я встал, но вдруг подумал, что могло что-то остаться в глубине ящика, и снова выдвинул его и пошарил рукой внутри. В самом деле – в глубине ящика лежала какая-то тетрадь. Я взял ее, положил к другим вещам и вышел. Пока я оставался в комнате на месте Раифа-эфенди, меня не покидала мысль, что, возможно, ему больше не придется сидеть на этом стуле и выдвигать этот ящик.

Придя к нему домой, я увидел, что все вновь были сильно взволнованы. Дверь открыла Неджля и, увидев меня, закачала головой: – Не спрашивайте! Не спрашивайте!

К тому времени я стал почти членом семьи, и домашние не воспринимали меня как чужого. Младшая дочь пожаловалась:

– Папе снова плохо! Сегодня два раза было. Мы очень испугались. Тетин муж привел доктора, сейчас он у него... Делает укол... – и тут же исчезла в комнате больного.

Я не стал входить к больному. Опустившись на один из стульев в холле, я положил перед собой пакет, завернутый в бумагу. Михриеханым несколько раз выходила из комнаты, но я все не решался отдать ей эти жалкие предметы. Когда кто-то терпит предсмертные мучения, отдавать его близким грязное полотенце и старую вилку весьма неуместно. Я встал и начал ходить вокруг большого стола. Увидев себя в зеркале буфета, удивился. Я был бледен. Сердце колотилось как бешеное. Попытки человека устоять на узком мосту между жизнью и смертью всегда кажутся ужасными. Затем я подумал, что у меня нет никакого права проявлять в присутствии его близких – его жены, дочерей и других родственников – больше беспокойства, чем они.

В это время мой взгляд упал на приоткрытую дверь гостиной. Подойдя ближе, я увидел деверей Раифа-эфенди, Джихата и Ведата. Они сидели рядом на диване и курили. Они явно злились друг на друга из-за того, что у них дома стряслось горе и что им никак не уйти гулять. Нуртен сидела в кресле, опустив голову на руки; непонятно было, плакала она или спала. Чуть подалее свояченица Раифа-эфенди, Ферхунде, держала на коленях обоих детей, что-то тихонько говорила им, но было прекрасно видно, что разговаривать со своими детьми она не умеет.

Дверь из комнаты больного отворилась, вышел врач, а за ним следом Нуреттин-бей. Несмотря на все внешнее безразличие, по виду доктора чувствовалось, что он обеспокоен.

– Не отходите от него, и если начнется приступ, сделайте такой же точно укол, – сказал он.

Нуреттин-бей, нахмурившись, спросил:

– Это опасно?

Доктор ответил точно так, как в подобной ситуации отвечают все доктора:

– Пока не понятно!

И, чтобы не подвергаться дальнейшим расспросам, и особенно чтобы жена больного не донимала его беспокойством, быстро надел шляпу с пальто, поморщившись, взял у Нуреттина-бея три серебряных лиры и покинул дом.

Я медленно приблизился к двери больного. Заглянул внутрь. Михрие-ханым и Неджля встревоженно смотрели на человека, лежавшего перед ними с закрытыми глазами. Увидев меня, девушка кивнула, приглашая подойти. Они с матерью хотели увидеть, какое больной произведет впечатление на меня. Я это заметил и поэтому изо всех сил старался держать себя в руках. С видом удовлетворения увиденным я слегка кивнул. Затем, повернувшись к женщинам, через силу улыбнулся:

– Кажется, опасаться нечего... Даст бог, поправится!

Больной приоткрыл глаза и какое-то время смотрел на меня, словно бы не узнавая. Затем, прилагая большие усилия, повернулся к жене и дочери, пробормотал что-то невнятное и, наморщившись, стал делать им какие-то знаки.

Неджля подошла ближе:

– Ты что-то хочешь, папочка?

– Выйдите все ненадолго!

Его голос был тихим и прерывистым.

Михрие-ханым сделала нам знак. Но больной, увидев это, высвободил из-под одеяла руку, поймал меня за запястье:

– А ты не уходи!

Женщины слегка удивились. Неджля проговорила:

– Папочка, ты бы не поднимал руку!..

Раиф-эфенди поспешно кивнул, будто хотел сказать «Знаю, знаю!» и снова сделал им знак выйти.

Обе женщины, вопросительно глядя на меня, покинули комнату.

Тогда Раиф-эфенди указал на пакет, который я держал в руках и о котором совершенно забыл:

– Ты все принес?

Сначала я, не понимая, смотрел на него. Столько церемоний, чтобы спросить лишь об этом? Больной продолжал смотреть на меня, глаза его блестели, словно он сильно волновался.

В тот миг я впервые вспомнил о той самой тетради в черной обложке. Я ведь ни разу ее не открыл, не поинтересовался, что там написано. Мне даже в голову не приходило, что у Раифа-эфенди могла быть подобная тетрадь.

Быстро открыв пакет, я положил полотенце и все, что там было, на табурет у двери. Затем, взяв тетрадь, показал ее Раифу-эфенди:

– Вы это хотели?

Он утвердительно кивнул.

Я украдкой перелистал тетрадь. Во мне росло неодолимое любопытство. На страницах в линейку я увидел крупные и неровные буквы и строчки, написанные, как видно, в большой спешке. Я заглянул на первую страницу, заголовка там не было. Справа стояла дата: «20 июня 1933 года» и сразу под ней шли следующие строки: «Вчера со мной произошел странный случай, который заставил меня вновь пережить некоторые события десятилетней давности»...

Что было ниже, я прочесть не успел. Раиф-эфенди снова высвободил руку и остановил меня.

– Не читай! – проговорил он и, указав головой на противоположный угол комнаты, пробормотал:

– Брось ее туда!..

Я посмотрел, куда он показывал. В углу стояла железная печь, в которой за слюдяными окошками сверкали красные огоньки.

– В печь?

– Да!

В тот миг мое любопытство достигло высшей точки. Уничтожить тетрадь Раифа-эфенди собственными руками показалось мне невозможным.

– С какой стати, Раиф-бей! – заупирался я. – Разве не жалко? Разве правильно жечь тетрадь, которая долгое время была вашим другом?

– Она не нужна! – сказал он и вновь показал на печку. – Она больше не нужна!

Я понял, что убедить его передумать невозможно. Быть может, душу, которую он скрывал ото всех, он излил в этой тетради и сейчас хотел уйти вместе с ней. Во мне проснулось бесконечное милосердие и бесконечная жалость к этому человеку, который не хотел ничего оставить людям после себя и который, шагая навстречу смерти, забирал с собой даже свое одиночество.

– Я понимаю вас, Раиф-бей! – сказал я. – Да, я вас хорошо понимаю. Вы правы, что ревниво прячете все от людей. Ваше желание сжечь свою тетрадь тоже верно... Но не могли бы вы дать ее мне, хоть ненадолго, хоть на день?

Он недоуменно посмотрел на меня, словно спрашивая: «Зачем?»

В ответ я лишь придвинулся ближе к нему, чтобы он видел, какую любовь и сострадание я к нему испытываю, что было для меня последним средством.

– Прошу вас, оставьте мне эту тетрадь на одну ночь, только на одну! Мы с вами так долго дружим, а вы никогда о себе ничего не рассказывали... Разве не естественно интересоваться жизнью друга? Неужели вы считаете, что от меня тоже нужно прятаться? Вы для меня самый дорогой человек на свете... И, несмотря на это, хотите бросить меня и уйти, словно я в ваших глазах – ничто, как и все?

Слезы навернулись мне на глаза. В горле стоял комок, но я продолжал говорить, как бы изливая накопившиеся у меня в душе упреки этому человеку, который на протяжении многих месяцев избегал открыться мне:

– Возможно, вы правы в том, что отказываете людям в доверии. Но разве среди людей нет исключений? Разве не может так быть? Не

забывайте, что вы – один из этих людей... То, что вы делаете, в конце концов, может оказаться просто бессмысленным эгоизмом.

Я спохватился, вспомнив, что такие вещи тяжело больному человеку говорить не стоит, и замолчал. Он тоже молчал. Наконец, сделав последнее усилие, я произнес:

– Раиф-бей, поймите меня! Я ведь в начале того пути, в конце которого уже находитесь вы. Я хочу познать людей, а особенно хочу знать, что люди сделали вам...

Больной, резко мотнув головой, перебил меня. Он что-то бормотал; я наклонился, чувствуя на своем лице его дыхание.

– Нет, нет! – говорил он. – Люди ничего мне не сделали... Ничего... Все сделал я сам... Я сам...

Внезапно он замолчал, его голова в изнеможении упала на грудь. Он задышал чаще. Было ясно, что эта сцена его утомила. Я тоже почувствовал сильную душевную усталость. Я уже собирался бросить тетрадь в печь. Вдруг больной вновь открыл глаза:

– Никто не виноват... Даже я!

Он закашлялся. Наконец, указав глазами на тетрадь, проговорил:

– Читай, все поймешь!

Я тут же положил тетрадь в черной обложке в карман.

– Завтра утром принесу ее и сожгу у вас на глазах! – пообещал я.

– Делай, как знаешь! – с безразличием пожал плечами больной.

Я понял, что он порвал связь даже с этой тетрадью, которая, несомненно, содержала самое важное, что было в его жизни. Собираясь уходить, я наклонился поцеловать ему руку. Когда я хотел встать, он не отпустил мою руку, а привлек к себе и поцеловал, сначала в лоб, затем в щеки. Когда я поднял голову, то увидел, что у него из глаз по вискам текут слезы. Раиф-эфенди не делал ничего, чтобы скрыть их или вытереть и, не моргая, смотрел на меня. Я тоже не смог сдержаться и заплакал. То были тихие, молчаливые слезы, такие, какими плачут от настоящего и действительно большого горя. Я подозревал, что потерять его будет трудно. Но я и представить не мог, что это будет так ужасно, так больно.

Раиф-эфенди снова пошевелил губами. Едва слышно он прошептал:

– Мы ни разу с тобой не разговаривали, сынок... Как жаль! – и закрыл глаза.

Теперь мы уже попрощались друг с другом... Я стремительно прошел через гостиную и выскочил на улицу – лишь бы мое лицо не видели те, кто ждал за дверью. На улице холодный ветер обжигал мне щеки. А я все время твердил про себя: «Как жаль!.. Как жаль!..»

Когда я пришел домой, мой приятель уже спал. Я лег в постель, зажег у изголовья маленькую лампу, тут же достал тетрадь Раифа-эфенди в черной обложке и начал ее читать.

20 июня 1933 г.

Вчера со мной произошел странный случай, который заставил меня вновь пережить некоторые события десятилетней давности. Я знаю, что эти воспоминания, которые, как я думал, уже совсем позабылись, теперь никогда не оставят меня... Коварный случай вывел их вчера на мою дорогу и пробудил меня от глубокого сна, в который я был погружен уже много долгих лет, от бесчувственного оцепенения, к которому я уже привык. Я солгу, если скажу, что сойду с ума или умру. Человек ведь быстро привыкает и смиряется с тем, что, как он думал, никогда не сможет перенести. Я тоже переживу... Но как переживу!.. Какой нестерпимой пыткой станет моя жизнь теперь!.. Но я вытерплю... Как и терпел до сих пор...

Только с одним я не смогу смириться теперь: я не смогу хранить все это в своей голове, находясь наедине с самим собой. Я хочу говорить, я хочу рассказать очень, очень многое... Но кому?.. Есть ли в этом огромном мире еще хоть один совершенно одинокий человек, такой же, как я? Кому и что я могу рассказать? Я не могу вспомнить, чтобы разговаривал с кем-то за последние десять лет. Я напрасно убежал от всех, я напрасно удалил от себя всех людей; но разве смогу я теперь поступать по-другому? Изменить что-то теперь уже невозможно... Да и не надо. Значит, было необходимо, чтобы все было так. Но если бы я только мог рассказать все... Если бы кому-нибудь, хотя бы одному человеку я смог излить все, что у меня на душе... Но даже если я в самом деле захочу этого, я уже не смогу найти такого человека... Я больше не в состоянии искать... Да и не буду искать, даже если буду в состоянии... Зачем я вообще купил эту тетрадь? Если бы была хоть маленькая надежда, разве бы я принялся за дело, которое больше всего на свете не люблю – писать? Человеку необходимо излить кому-нибудь свою душу... Если бы вчера ничего не

произошло... Ах, если бы я вчера не узнал всего!.. Тогда бы, быть может, продолжилась моя прежняя спокойная жизнь...

Вчера я случайно встретил двоих. Одного человека я видел впервые, а второго, возможно, мог бы назвать одним из самых чужих мне людей на земле. Разве мог я когда-то представить, что этот человек оставит такой след в моей жизни?

Но раз уж я решился писать, я должен рассказать обо всем спокойно и с самого начала... Для этого следует вернуться на много лет назад, лет на десять-двенадцать... Может, даже на пятнадцать... Я собираюсь писать обо всем, не смущаясь... Может, мне удастся утопить в бессмысленных деталях истории настоящее горе и тем самым избавиться от его воздействия? Может, то, что я напишу, не будет таким горьким, как пережитое мною, и я почувствую некоторое облегчение? Быть может, я увижу, что многое не так уж важно, гораздо проще, нежели я предполагал, и устыжусь собственных переживаний? Может быть...

Мой отец родом был из Хаврана^[7]. Там я родился и вырос. Там я получил начальное образование, затем какое-то время ходил в среднюю школу Эдремита, которая находилась в часе пути от нашего дома^[8]. В последние годы мировой войны, в возрасте девятнадцати лет меня взяли в армию; но мы были еще в учебном подразделении, когда объявили перемирие. Я вернулся в свой городок. Снова продолжил учиться в средней школе, но не закончил ее. У меня вообще не было особого стремления к образованию. Годовой перерыв, смута и беспорядок, царившие в то время в наших краях, отвратили меня от учебы.

После перемирия вся общественная система ослабла, какой-либо прочной власти не осталось, у людей не осталось ни определенных взглядов, ни целей. Некоторые районы страны были заняты иностранными войсками, неизвестно откуда появилось множество разноименных партизанских отрядов, которые то сражались единым фронтом против общего врага, то занимались грабежом; какой-нибудь полевой командир, имя которого еще вчера передавали из уст в уста как имя героя, через неделю бывал пойман и повешен в назидание другим на площади перед губернаторским дворцом в Эдремите. В такое время закрыться в четырех стенах и углубиться в османскую историю или беседы об этике было не очень заманчиво. Однако отец,

считавшийся одним из самых состоятельных людей в округе, почему-то загорелся желанием дать мне образование. Увидев, что большая часть моих сверстников, перевязавшись крест-накрест патронташем и вооружившись тяжелым маузером, ушла в партизаны, часть которых была перебита оккупантами, а часть – разбойниками, отец стал опасаться за мое будущее. Я ведь тоже не хотел бездельничать и втайне от всех готовился сражаться. Но в это время войска союзников вошли в наш городок, и всем моим геройским устремлениям суждено было погибнуть, так и не обрета воплощения.

Несколько месяцев я слонялся по окрестностям, словно бродяга. Большинство моих приятелей пропали. Отец решил отправить меня в Стамбул. Он сам не знал, зачем именно мне туда ехать, но все время твердил: «Найди там школу и учись!» Я же всегда был несколько беспомощным и стеснительным ребенком, а слова отца показывали, как он мало знает своего сына. Однако, как бы там ни было, я чувствовал в себе кое-какие скрытые склонности. В школе у нас был один предмет, по которому я неизменно заслуживал похвалы учителей: я неплохо рисовал. Иногда мне хотелось поступить в стамбульскую Академию художеств, и я предавался заманчивым мечтам. Между тем я рос тихим ребенком, который с детства жил в мире своих фантазий больше, нежели в реальности. От природы во мне жила постоянная, возраставшая до бессмыслицы стеснительность. Это часто приводило к тому, что окружающие люди неверно понимали мою склонность к молчанию и считали глупцом, что весьма огорчало меня. Пугала и необходимость исправлять мнение, сложившееся обо мне. Хотя ответственность за все проступки, совершаемые моими школьными товарищами, постоянно сваливались на меня, я никогда не осмеливался сказать ни слова в свою защиту и, возвращаясь домой, лишь плакал, забившись в угол. Помню, что мать и в особенности отец часто мне говорили: «Тебе, видно, следовало родиться девочкой, но ты по ошибке родился мальчиком!» Самым большим удовольствием для меня было сидеть в одиночестве дома в саду или на берегу ручья и предаваться мечтам. Те мечты были весьма дерзостными и смелыми настолько, что образовывали большой контраст с моими поступками: подобно героям бесчисленных переводных романов, которыми я зачитывался, я, бывало, часто тиранил своих подданных вместе со своей свитой, беспрекословно повиновавшейся каждому моему слову.

В маске на лице и с парой револьверов за поясом я похищал и прятал в усыпанной драгоценностями пещере в горах девушку по имени Фахрие из соседнего квартала, будившую во мне сладостные желания, суть которых была для меня тогда весьма смутной. Я представлял себе, как сначала она будет дрожать от страха, а затем, увидев трепетавших передо мной людей и невиданные богатства в пещере, придет в восторг и, когда я наконец открою ей свое лицо, вскрикнув, с радостью бросится мне на шею. Иногда, подобно великим первооткрывателям, я путешествовал по Африке, переживал невероятные приключения среди людоедов, иногда же становился знаменитым художником и ездил по Европе. Все, что я вычитал в книгах, в романах Мишеля Зевако, Жюль Верна, Александра Дюма, Ахмета Митхата-эфенди^[9], Веджихи-бея^[10], – все это заняло прочное место в моем воображении.

Отец сердился, что я так много читаю, иногда отбирал у меня книги и выкидывал их, не позволяя мне по ночам приносить в комнату светильник. Однако, увидев, что я из любого положения нахожу выход и при свете ночника с маленьким шнуровым фитилем, забыв обо всем на свете, читаю «Парижские тайны» или «Отверженных», он перестал давить на меня. Я читал все, что попадалось в руки, и оставался под впечатлением от всего, что прочитывал, будь то приключения месье Лёкока или история Мурат-бея.

Однажды я прочитал в книге по истории Древнего Рима о том, как один римский посол по имени Муций Сцевола во время мирных переговоров с врагом в ответ на угрозу, что, если он не примет сделанных ему предложений, его убьют, протянул руку в горящий рядом костер, обжег ее до локтя и спокойно продолжал при этом переговоры, показывая, что такими угрозами его не запугать. Я тут же захотел испытать себя, сунул руку в огонь и довольно сильно обжег пальцы. Память о человеке, который обладал такой стойкостью, чтобы сохранять улыбку, несмотря на сильнейшую боль, никогда не покидала меня.

Иногда я принимался сам что-нибудь писать и даже марал незатейливые стишки, но очень быстро отказался от этого: страх в какой бы то ни было форме излить то, что таилось у меня в душе, моя бессмысленная боязливость мешала мне что-либо писать. Только рисовать я продолжал. Мне казалось, что рисование не сможет выдать мой внутренний мир: взяв что-то из окружавшей меня реальности,

перенести это на бумагу, – всего лишь своего рода посредничество, – думал я... Наконец, поняв, что дело обстоит совсем не так, я забросил и рисование. Все из-за этого страха...

То, что рисование – тоже разновидность самовыражения, я понял в Стамбуле в Академии художеств и перестал посещать занятия. Да и преподаватели не находили во мне ничего особенного. Я мог показать им только самые примитивные рисунки из всего того, что наскоро набрасывал дома или в студии; а рисунки, выражавшие что-то личное, содержащие что-то сокровенное, я тщательно прятал и показывать стыдился. Если они случайно попадали кому-то в руки, я смущался, как женщина, которую застали нагой и неубранной, краснел и убегал.

Не зная, чем заняться, я долго слонялся по Стамбулу. Шли годы Перемирия^[11], и жизнь в городе стала такой бесстыдной и беспорядочной, что я не мог этого вынести. Я попросил у отца денег, чтобы вернуться в Хавран. Примерно через десять дней я получил длинное письмо. Отец решил прибегнуть к последнему средству, чтобы сделать из меня человека.

Он где-то слышал, что из-за инфляции в Германии стало очень выгодно жить иностранцам, дешевле даже, чем в Стамбуле, и уговаривал меня в письме поехать туда поучиться мыловаренному делу, в особенности мускусному мыловарению; он извещал меня, что продал золотой браслет и выслал некое количество денег на дорогу и другие расходы. Я несказанно обрадовался. Но вовсе не из-за того, что чувствовал в себе склонность к этому ремеслу, а из-за того, что вот так, внезапно, когда вовсе не ожидал, представился случай повидать Европу, которая с детства жила в моих фантазиях тысячами образов и была предметом моих мечтаний. Отец писал в письме: «Если ты хорошо изучишь за пару лет это ремесло, я увеличу, усовершенствую и отдам тебе в управление нашу здешнюю мыловарню, и ты, уйдя с головой в торговую жизнь, благодаря золотому браслету, наконец станешь счастлив и благополучен!»

Но об этой стороне дела я даже не помышлял. Я полагал, что выучу иностранный язык, начну читать на этом языке книги и, самое главное, найду в этой самой Европе тех людей, которых до сих пор встречал только в романах. Да разве одна из причин моей дикости и отчужденности от окружающих не крылась в том, что я не находил

среди них таких людей, о каких читал в книгах и которые были мне близки?

Я собрался за неделю и отправился в Берлин через Болгарию на поезде. Я совсем не знал языка. Благодаря пяти-десяти словам, которые я выучил из разговорника за время четырехдневного путешествия, я добрался до пансиона, адрес которого записал себе в тетрадь, еще когда был в Стамбуле.

Первые недели прошли за изучением языка, так чтобы можно было объясняться, и прогулками по городу, во время которых я удивленно озирался по сторонам. Изумление первых дней длилось недолго. В конце концов, это тоже был просто город. Город, улицы которого были немного шире, намного чище, а у жителей – светлее волосы и глаза. Не было ничего из ряда вон, ничего поразительного. Ведь я и сам не знал, какой именно была Европа, являвшаяся мне в мечтах в часы раздумий, и чего не хватало тому городу, в котором я сейчас оказался. Я тогда еще не уяснил себе, что в жизни никогда не бывает чудес, которые бывают в наших мечтах.

Поняв, что, не выучив язык, я не смогу ничем заниматься, я начал брать уроки у одного отставного офицера, который во время войны был в Турции и немного знал турецкий язык. Хозяйка пансиона в свободное время часто болтала со мной, чем также помогала процессу обучения. Другие обитатели пансиона также считали удачей подружиться с турком и забивали мне голову глупыми вопросами. За ужином собиралась довольно пестрая компания. Наиболее близкими моими приятелями стали вдова из Голландии фрау ван Тидеманн, португальский купец, возивший в Берлин апельсины с Канарских островов, герр Камера и пожилой герр Дёпке. Последний занимался торговлей в немецкой колонии Камеруне, а после Перемирия оставил все и уехал на родину. На небольшое количество денег, которое ему удалось спасти, он вел довольно скромный образ жизни и проводил дни за посещением политических собраний, коих в то время в Берлине устраивалось великое множество, а по вечерам делился своими впечатлениями. Часто он приводил с собой отставных офицеров, с которыми знакомился неизвестно где, и пускался с ними в жаркие многочасовые политические дебаты. Из того, что я кое-как понимал, все они считали, что единственный путь к спасению Германии был в

том, чтобы к власти пришел человек с железной волей, как Бисмарк, и чтобы он, не теряя времени, создал сильную армию и исправил несправедливости новой войной.

Иногда кто-нибудь из постояльцев пансиона уезжал, и в освободившуюся комнату сразу же вселялся новый гость. Со временем я привык к этим переменам, к электрической лампе с красным абажуром, которая постоянно горела в темном зале, где мы ели, к неизменному запаху тушеной капусты, которой пахло в любое время дня, к политическим дискуссиям моих соседей за обеденным столом. Все это даже стало мне надоедать. В особенности разговоры о политике... У каждого из спорщиков был свой план по спасению Германии. На деле же все планы были связаны не с благами для Германии, а с личными выгодами каждого из них. Пожилая женщина, потерявшая состояние из-за инфляции, гневалась на военных, военные винили во всем бастовавших рабочих и не желавших продолжать войну солдат, камерунский делец во всем винил императора, ни с того ни с сего развязавшего войну. Даже горничная, убиравшая по утрам мою комнату, принималась говорить со мной о политике, а в свободное время тут же погружалась в чтение газет. У нее тоже были собственные суждения, и когда она говорила о них, в пылу, с покрасневшим лицом, размахивала в воздухе сжатым кулаком.

Я словно забыл, для чего приехал в Германию. Я вспоминал о мыловарении лишь тогда, когда получал письма от отца, и, обманывая и его, и себя, писал, что пока занят изучением языка и что вот-вот устроюсь на мыловарню. Проходили похожие друг на друга дни. Я обошел весь город, посетил все музеи и даже побывал в зоопарке. Меня повергало в отчаяние, что я осмотрел миллионный город за несколько месяцев, и больше в нем нет для меня ничего нового. Я говорил себе: «Вот тебе и Европа! И чего в ней такого?» и пришел к выводу, что и весь мир, в сущности, довольно скучен. Обычно после обеда я бродил по большим улицам в толпе и наблюдал за прохожими: женщины шли по домам с серьезными лицами, будто их ждали очень важные дела, или же, навалившись на руку мужчин, томно улыбались, а мужчины еще хранили твердый армейский шаг.

Чтобы совсем уж не обманывать отца, я при помощи нескольких знакомых турков обратился на одну фабрику, занимавшуюся изготовлением дорогого мыла. Немецкие рабочие, работавшие на той

фабрике, входившей в состав одной шведской промышленной группы, встретили меня тепло, со вниманием, вызванным еще не забытым братством по оружию, однако воздержались от того, чтобы посвятить меня в большие тайны мыловарения, нежели те, о которых я узнал на нашей мыловарне в Хавране. Возможно, то был секрет фирмы. Возможно, они повели себя так потому, что не увидели во мне особой заинтересованности предметом и решили не тратить времени впустую. Постепенно я перестал бывать на фабрике, а они не задавали вопросов; письма от отца приходили все реже, и я продолжал жить в Берлине, не задумываясь о том, что делать дальше и зачем я сюда приехал.

Три раза в неделю по вечерам я брал уроки немецкого у своего отставного офицера, днем разглядывал картины по музеям и картинным галереям, которые то и дело открывались тут и там, и ощущал запах капусты еще на расстоянии ста шагов от пансиона. Я уже не скучал, как раньше, в первые месяцы после приезда. Я старался читать немецкие книги и со временем стал получать от этого больше удовольствия. Со временем такое чтение стало почти что пристрастием. Лежа на кровати, я раскрывал перед собой книгу, клал рядом старый толстый словарь и часами пребывал в таком положении. Мне даже часто не хватало терпения искать слова в словаре, и, поняв смысл предложения, я читал дальше. Перед моими глазами словно бы раскрывался новый мир. Те книги, что я читал теперь, рассказывали не только о героях, необыкновенных людях или невиданных приключениях, подобно переводным или турецким романам времен моего детства и юности. Почти во всех них я находил частицу самого себя и того, что меня окружало, фрагменты того, что я видел и слышал. Мне казалось, что я начал понимать, замечать и только сейчас оценивать по-настоящему то, чего раньше не видел и не понимал, хотя всегда с этим жил. Самое большое впечатление на меня произвели русские писатели. Я часто за один присест прочитывал большие рассказы и повести Тургенева. Одна из них произвела на меня особое впечатление. Девушка, героиня повести под названием «Клара Милич»^[12], влюбилась в глуповатого юношу, но, не говоря об этом никому, от стыда, что любит такого человека, страдала от безответной сильной страсти и в конце убивала себя. Почему-то ее история показалась очень мне близкой. Она казалась мне похожей на меня тем,

как она не могла никому поведать, что происходило у нее в душе, тем, как она с огромной ревностью и недоверием таила в себе самые сильные, глубокие и прекрасные свои черты.

Мастера старинной живописи в музеях тоже дарили мне возможность не скучать. Бывало, я часами разглядывал какую-нибудь картину в Национальной галерее, а затем много дней вспоминал какое-то лицо или пейзаж.

Скоро должен был исполниться год с тех пор, как я приехал в Германию. Однажды, я хорошо помню, в один из дождливых темных октябрьских дней я листал газеты, и мне на глаза попала критическая заметка об одной выставке, которую открыли «новые» художники. Я не разбирался особенно в новомодных веяниях искусства. Возможно, в их произведениях была претензия, склонность к тому, чтобы любым способом обратить на себя внимание, показать себя; все это не нравилось мне потому, что противоречило моей натуре... Я даже дочитывать статью в газете не стал. Но через несколько часов, когда, бродя наобум по улицам, я совершал свою ежедневную прогулку, я заметил, что стою перед зданием, где открылась выставка, о которой писали в газете. Важных дел у меня не было. Повинуясь случаю, я зашел и долго расхаживал по залам, равнодушно разглядывая большие и маленькие картины, развешенные на стенах.

Большинство рисунков вызывало желание улыбнуться: угловатые колени и плечи, непропорциональные головы и тела; пейзажи, которые пытались передать нечто яркими резкими красками, словно были сделаны из бумаги для труда. Хрустальные вазы, бесформенные, как кусок битого кирпича; безжизненные цветы, много лет пролежавшие в книгах; и, наконец, ужасные портреты, которые напоминали фотографии из полицейской картотеки преступников... Но как бы там ни было, публика развлекалась. Вероятно, художники, которые пытались, затратив мало труда, справиться с большими задачами, заслуживали негодования. Однако наказание остаться никем не понятыми и быть смешными они принимали с таким патологическим удовольствием и радостью, что зрителю оставалось только сочувствовать им.

У одной из стен большого зала рядом с дверью я внезапно замер. Не могу рассказать о чувствах, которые я испытал в тот момент, в

особенности сейчас, после того, как прошло столько лет. Помню только, что стоял там, как пригвожденный, перед портретом женщины в меховом манто. Люди, проходившие мимо, рассматривая картины, толкали меня справа и слева, но я не мог сойти с того места, где стоял. Что так поразило меня в том портрете? Я не могу этого объяснить. Могу только сказать, что лицо на нем имело странное выражение, какого я никогда не видел ни у одной женщины – немного дикое, немного надменное и очень волевое. Хотя я с первого мгновения знал, что никогда, нигде не видел этого лица или похожего на него, меня охватило чувство, будто мы с этой женщиной знакомы. Это бледное лицо, эти черные брови и черные глаза; эти темно-каштановые волосы и, самое главное, это выражение, сочетающее в себе наивность и страсть, беспредельную грусть и сильную волю, не могло быть мне чужим. Я знал эту женщину из книг, которые читал с семи лет, из призрачного мира, который создавал для себя с детства. В ней была частичка Нихаль Халида Зин^[13], Меджхуре Веджихи-бея^[14], прекрасной дамы рыцаря Буридана^[15] и Клеопатры, о которой я читал в книгах по истории; и даже матери Мухаммеда Амине-хатун, которую я представлял себе, когда слушал мевлюд^[16]. Она была воплощением всех женщин из моих грез, неким их синтезом. Сквозь мех ее шубы из дикой кошки проглядывала шея, которая, хотя и оставалась в тени, была явно матового белого цвета; овал лица был слегка обращен влево. Черные глаза женщины смотрели вниз, как будто она была погружена в глубокие, неясные мысли; она словно с последней надеждой искала что-то, что, как была уверена, не сможет найти. Несмотря на это, в ее грустном взгляде была видна и некоторая удовлетворенность своей участью. Она словно бы говорила: «Да, я не смогу найти то, что ищу... Ну и что?» Это выражение удовлетворенности проявлялось и на ее немного полных губах, нижняя из которых была чуть крупнее. Ее веки были слегка припухшими. Брови были не густыми, но и не слишком тонкими, зато довольно короткими; ее темно-каштановые волосы, обрамляя угловатый и довольно широкий лоб, ниспадали вниз и смешивались с мехом манто. Подбородок был слегка выпячен вперед и заострен. Нос был тонким, с крупными ноздрями.

Дрожащими руками я перелистал каталог. Я надеялся найти там какие-либо сведения об этой картине. Ближе к концу, в нижней части страницы, на уровне номера страницы я прочитал всего три слова:

«Maria Puder, Selbstportrât» – «Мария Пудер, автопортрет». Больше ничего не было. Видимо, это произведение художницы, ее собственный портрет, было единственной ее работой на выставке. Меня это немного обрадовало. Я втайне боялся, что другие картины женщины, создавшей такой превосходный портрет, не произведут на меня такого же впечатления и, может быть, даже убавят мой изначальный восторг. Я остался на выставке допоздна, бродил по залам, невидящими глазами смотрел на другие картины и затем, быстро вернувшись на прежнее место, долгое время любовался портретом. Каждый раз я словно бы видел в лице женщины новое выражение, я как будто видел жизнь, в которой она постепенно оживала. Мне чудилось, что ее глаза, опущенные вниз, тайком рассматривают меня, что ее губы слегка дрожат.

В зале никого не осталось. Высокий человек, стоявший рядом с дверью, кажется, ждал меня. Быстро взяв себя в руки, я вышел на улицу. Накрапывал мелкий дождь. Я вернулся в пансион, нигде не задерживаясь по дороге, – в противоположность тому, как бывало каждый вечер. Меня сжигало желание сразу же после ужина удалиться в свою комнату и, оказавшись наедине с самим собой, представить и вновь увидеть перед собой поразившее меня лицо. За столом я совсем не разговаривал. Хозяйка пансиона, фрау Хеппнер, поинтересовалась:

– Что вы осмотрели сегодня?

– Да так, ничего... Побродил, затем посетил одну выставку современных художников! – пробормотал я.

Те, кто находились в зале, сразу же заговорили о современной живописи, а я тихонько удалился к себе.

Когда я раздевался, из кармана моего пиджака на пол упала какая-то газета. Я поднял ее, положил на стол, и тут мое сердце внезапно забилося. Это была та самая газета, которую я купил утром и в которой увидел статью о выставке. Чтобы узнать, есть ли в статье что-нибудь о картине и художнице, я резко раскрыл газету, едва не разорвав ее. Я был несказанно удивлен, что такой медлительный и спокойный человек, как я, волнуется. Быстро пробежал статью глазами с самого начала. Ближе к середине мой взгляд наткнулся на слова, которые я видел в каталоге: Мария Пудер...

Об этой молодой художнице, впервые представившей свою картину на выставке, рассказывалось довольно много. Писали, что эта

женщина-художник, которая, как явствовало, предпочитала следовать по пути классиков, обладает на удивление большой способностью к выражению и что в ней отсутствует склонность к «приукрашиванию» или «наоборот, к уродованию», наблюдаемая у большинства художников, создающих автопортреты. В конце, после ряда технических замечаний, в статье утверждалось, что, по странному совпадению, женщина на картине своей позой и выражением лица до удивления похожа на Деву Марию с картины Андреа дель Сарто^[17] «Мадонна дель Арпи». Далее в статье следовали пожелания успехов этой, как шутя выражался автор, «Мадонне в меховом манто» и речь велась уже о следующем художнике.

На другой день я первым делом пошел в магазин, где продавались репродукции известных картин, и стал искать «Мадонну Арпи». Я нашел ее в большом альбоме дель Сарто. Хотя на довольно плохо отпечатанной копии ничего особенного разглядеть было невозможно, автор статьи был прав: лицо этой Мадонны, стоявшей на возвышении со святым младенцем на руках, потупив глаза и словно бы не замечая мужчину с бородой справа и юношу – слева; то, как она держала голову; грусть, ясно читавшаяся на ее губах и во взгляде, и выражение разочарованности были в точности как на картине, которую я видел вчера. Ту страницу альбома продавали отдельно, и поэтому я сразу купил ее и вернулся к себе. Внимательно разглядывая ее у себя в комнате, я пришел к выводу, что эта картина с точки зрения искусства довольно своеобразна. Я впервые в жизни видел такую Мадонну. В изображениях Девы Марии, которые я видел до сих пор, выражение невинности было подчеркнуто больше, чем следовало, и бывало даже доведено до бессмыслицы: эти Мадонны были похожи на маленьких девочек, которые словно желали сказать всем: «Видите, какое благодеяние оказал мне Господь!» или на молодых служанок с растерянной улыбкой, которые во все глаза глядели на своих чад, прижитых от некоего господина, имя которого нельзя называть. Между тем на этой картине Мария была изображена зрелой женщиной, которая научилась думать, сделала свои выводы о жизни и начала снисходительно относиться к окружающему ее миру. Она смотрела не на святых, стоявших по обеим сторонам от нее, не на Мессию у себя на руках и даже не на небо; она смотрела на землю и определенно что-то там видела.

Я оставил рисунок на столе. Закрыв глаза, я думал о картине на выставке. Мне только в этот момент пришло в голову, что человек, изображенный там, существует и в действительности. Раз художница выполнила свой портрет, значит, эта замечательная женщина ходит среди нас, смотрит своими черными выразительными глазами на землю или на собеседника, разговаривает, открывая рот с крупноватой нижней губой, короче говоря, живет. И ее можно где-нибудь увидеть... Как только я подумал об этой возможности, я сразу ощутил сильный страх. Такому мужчине, как я, у которого в жизни не было никаких приключений, встретиться с такой женщиной было бы страшно.

Мне было уже двадцать четыре года, но любовных приключений я еще не пережил ни с одной женщиной. В Хавране мы несколько раз устраивали кутежи по настоянию некоторых наших приятелей по кварталу, постарше нас, но те кутежи были ничем иным, как пьяными загулами, смысла которых я понять не мог, а застенчивость, присущая моей натуре, препятствовала тому, чтобы я стремился их повторить. Женщина для меня была далеким от материального мира созданием, к которому приблизиться было невозможно; она была для меня существом, подстегивавшим мое воображение, принимавшим участие в тысячах приключений, которые я переживал жаркими летними днями, лежа под оливковым деревом. В мечтах мои отношения с нашей соседкой Фахрие, в которую я был долгие годы безответно и молчаливо влюблен, много раз доходили до бесстыдства, но когда я встречал ее на улице, то терялся так, что казалось, вот-вот упаду без чувств; лицо мое горело, как огонь, и я убегал. Я убегал из дома и прятался около их дверей, чтобы посмотреть, как она по вечерам во время рамазана идет со своей матерью на теравих^[18], держа в руке фонарь, но как только эти двери открывалась и в желтоватом свете, падавшем на улицу, я видел силуэты в черных ферадже^[19], то, отвернувшись к стене, начинал дрожать от страха, что они заметят меня.

Когда мне так или иначе нравилась какая-либо женщина, первое, что я делал, – убегал от нее. И если я с ней встречался, то боялся, что все мои движения, все мои взгляды выдадут мою тайну, и чувствовал себя самым несчастным человеком на свете из-за неопишуемого, почти удушающего смущения. Я не помню, чтобы когда-нибудь в жизни внимательно смотрел в глаза какой-нибудь женщине, даже своей

матери. В последнее время, особенно когда я находился в Стамбуле, я намеревался бороться с этой бессмысленной застенчивостью, старался вести себя свободно с девушками, с которыми я знакомился при помощи друзей. Но всякий раз, когда я видел с их стороны хотя бы малейший интерес, все мои намерения и вся решимость улетучивались. Я вовсе не был невинным и целомудренным человеком: когда я оставался один, я переживал с этими женщинами, оживавшими в моей памяти, сцены, которые не пришли бы в голову даже самым опытным любовникам, и чувствовал на своих губах опьяняющий напор их жарких и страждущих губ во много раз сильнее, чем могло быть в реальности.

Но эта картина, эта женщина в меховом манто, которую я увидел на выставке, увлекла меня так, что я никогда не смог бы дотронуться до нее даже в своих мечтах. Я был не в силах не только представить себе любовную сцену с ней, но даже и то, как буду сидеть с ней рядом и дружески беседовать. С другой стороны, во мне возрастало желание идти и смотреть на эту картину еще и еще раз, часами погружаться во взгляд этих глаз, которые, как я был уверен, смотрели не на меня. Накинув пальто, я вновь направлялся на ту выставку; это состояние продолжалось много дней.

Каждый день я приходил туда после полудня и неспешно прогуливался там, словно бы рассматривая картины в коридорах; я шел, с трудом замедляя шаги, с огромным нетерпением желая достичь главной цели, и погружался в созерцание «Мадонны в меховом манто», останавливаясь перед картиной, будто она случайно попала мне на глаза; и так проводил время до самого закрытия. Я заметил, что меня запомнили охранники и художники, многие из которых каждый день находились на выставке. Как только я входил, у них на лицах появлялась улыбка, и они долго следили за странным любителем живописи. В последние дни я даже перестал играть роль, которую старался играть сначала перед другими картинами. Я шел прямо к даме в меховом манто и, сев на скамейку напротив картины, устремлял взгляд на нее, а когда глаза уставали, смотрел перед собой.

Мое состояние вызвало неизбежное любопытство у постоянных посетителей выставки. И вот однажды случилось то, чего я боялся. Одна молодая женщина, которую я несколько раз видел в зале и которая, как я понял, сама была художницей, судя по тому, как она

общалась с другими художниками – длинноволосыми, в черных одеждах и с огромными галстуками, – подошла ко мне, когда я сидел:

– Вас так интересует этот портрет? Вы каждый день его рассматриваете!

Я быстро поднял глаза и сразу же опустил. Слишком развязная и немного насмешливая улыбка моей собеседницы произвела на меня нехорошее впечатление. Ее длинноносые туфли, стоявшие передо мной на расстоянии шага, смотрели на меня, словно ожидая ответа. Ее ноги, не полностью скрытые короткой юбкой, были – не могу этого не признать – роскошной формы; время от времени их мышцы слегка напрягались и под чулками несли вверх, к телу томительно-сладкую волну. Увидев, что она не собирается уходить, не добившись от меня ответа, я пробормотал:

– Да! Красивая картина...

Затем, вероятно, почувствовав необходимость что-то соврать, дать какие-то объяснения, не знаю зачем, я добавил:

– Вообще она очень похожа на мою мать...

– А, значит, поэтому вы так часто приходите и смотрите на нее часами!

– Да!

– Ваша мать умерла?

– Нет!

Она ждала, что я продолжу говорить. Я, не поднимая головы, добавил:

– Она очень далеко!

– Да?.. А где?

– В Турции!

– Вы турок?

– Да!

– Я сразу поняла, что вы иностранец! – Она слегка рассмеялась.

Довольно раскованно села рядом со мной. Когда она положила ноги одну на другую, ее юбка задралась выше колен, и я почувствовал, что мое лицо зарделось, как обычно бывало в подобных случаях. Казалось, мой вид еще больше развеселил сидевшую рядом особу. Она вновь спросила:

– У вас нет фотографии вашей матери?

Неуместное любопытство женщины начало мне надоедать. Я заметил, что она разговаривает со мной из желания посмеяться. Другие художники издалика наблюдали за нами и, очевидно, скалили зубы.

– Есть... Но... Это другое! – выдавил я.

– А!.. Значит, другое, – насмешливо повторила она.

И внезапно опять рассмеялась.

Я сделал движение, чтобы вскочить и убежать. Заметив это, она сказала:

– Не беспокойтесь, я уйду... Оставляю вас наедине с матерью!

Она встала, сделала несколько шагов. Затем вновь приблизилась ко мне; серьезным, непохожим на то, как она говорила только что, даже слегка печальным голосом, она спросила:

– Вы в самом деле хотели бы, чтобы у вас была такая мать?

– Да... Еще как хотел бы!

Повернувшись спиной, она удалилась быстрой, энергичной походкой. Я смотрел ей вслед. Коротко стриженные волосы подскакивали над затылком от ходьбы, а так как она держала руки в карманах, узкая юбка плотно облегла ее фигуру.

Я подумал, что своей последней фразой я выдал ложь, и растерялся, но сразу поднялся с места и, не осмеливаясь смотреть по сторонам, выскочил на улицу.

Было такое чувство, будто я прощаюсь с человеком, которого узнал во время долгой поездки и к которому привык, но вынужден быстро расстаться. Я знал, что больше ноги моей не будет на этой выставке. Люди, ничего не понимавшие друг в друге люди, гнали меня и отсюда.

По мере того как я представлял, что, как только вернусь в пансион, начнутся прежние бессмысленные дни, что за едой мне предстоит выслушивать планы по спасению Германии или жалобы людей среднего достатка, потерявших состояние из-за инфляции, и как я снова буду закрываться у себя в комнате и погружаться в книги рассказов Тургенева или Теодора Шторма, я все больше и больше понимал, какой смысл за эти две последние недели начала приобретать моя жизнь и чем является для меня эта потеря. Возможность, существование которой я даже не осмеливался предположить, приблизилась к моей жизни, пустой и бессмысленной, а затем

внезапно исчезла, так же неожиданно и беспричинно, как и появилась. Я понял это только сейчас. Сколько я себя помнил, я, оказывается, проводил все дни в поисках лишь одного человека, не догадываясь об этом и не признаваясь в этом даже самому себе, и именно поэтому бежал от других людей. Эта картина на какое-то время заставила меня поверить в то, что этого человека можно найти, и даже в то, что я почти рядом с ним; она пробудила во мне надежду, которую нельзя было уничтожить. Вот почему горечь, которую я испытывал на этот раз, была такой острой. Я стал еще больше избегать окружающих, еще больше замкнулся в себе. Я даже собрался написать письмо отцу и известить его о том, что хочу вернуться. Но что мне было сказать ему, если он спросит: «Чему ты научился в Европе?» Я вознамерился остаться еще на несколько месяцев и за некоторое время изучить «мускусное мыловарение» так, чтобы он остался доволен. Я снова обратился в ту же шведскую фирму, и, хотя был принят прохладнее, нежели в первый раз, начал регулярно посещать фабрику. Формулы и методы, которые я узнавал, я аккуратно записывал в тетрадь и, раздобыв книги по этой специальности, старался читать их.

Вдова из Голландии, фрау ван Тидеманн, также укрепляла нашу дружбу. Она давала мне читать детские книги, которые покупала для своего десятилетнего сына, учившегося в школе-интернате, и всегда интересовалась моим мнением. Иногда после ужина она под каким-либо незначительным предлогом приходила ко мне в комнату, садилась и подолгу болтала со мной. Чаще всего она принималась расспрашивать о моих приключениях с немецкими девушками, а когда я говорил правду, с улыбкой многоопытной женщины, которая означала «Ах ты, бабник!», сощурившись, шутливо грозила мне указательным пальцем. Однажды после обеда она предложила вместе прогуляться, а когда под вечер мы возвращались домой, затащила меня в пивную. Мы пили допоздна, не замечая, как бежит время. С тех пор как я приехал, я иногда пил пиво, но до такого состояния, как тем вечером, я не доходил ни разу. Помню, что в какой-то момент зал стал вращаться у меня над головой, и я, уже не владея собой, разлегся в объятиях фрау ван Тидеманн. Придя через некоторое время в себя, я увидел, что добросердечная вдова обтирает мне лицо платком, намочить который она попросила официантов. «Немедленно вернемся домой», – взмолился я. Женщина настояла на том, что заплатит сама.

Мы вышли на улицу, и я заметил, что она шатается не меньше меня. Держась за руки и ударяясь о прохожих, мы продвигались вперед. Время приближалось к полуночи, и людей на улицах было не много. В одном месте, когда мы переходили на противоположную сторону улицы, с нами произошло нечто странное. Мы ступили на тротуар, но фрау ван Тидеманн внезапно споткнулась о край; женщина была полновата и решила ухватиться за меня, чтобы не упасть, но, должно быть, оттого, что была выше меня, повисла у меня на шее. Однако, обретя равновесие, она больше не выпускала меня и сжимала в объятиях гораздо сильнее. Не знаю, было ли то под влиянием опьянения или чего-то иного, но я позабыл о всякой стыдливости и сильно прижимался к ней. Внезапно я ощутил на своих губах изголодавшиеся губы тридцатипятилетней вдовы. Дыхание ее было немного жарким, и столь бурное проявление страсти разлилось по моему телу густым, но приятным ароматом. Несколько прохожих, улыбнувшись, пожелали нам счастья. В это время мой взгляд упал на женщину, вышедшую из-под света электрического фонаря примерно в десяти шагах от нас и шагавшую в нашу сторону. Я почувствовал, как мое тело задрожало в неопишемом волнении. Заметив это, фрау ван Тидеманн, которая продолжала сжимать меня в объятиях, распалившись еще больше, стала осыпать мои волосы поцелуями. Однако теперь я уже пытался высвободиться, чтобы посмотреть на женщину, которая приближалась к нам. То была она. Лицо, мелькнувшее на мгновение, блеснуло в моей затуманенной голове, точно молния. Это была та самая «Мадонна в меховом манто», в шубе из меха дикой кошки, с бледным лицом и черными глазами, портрет которой я видел на выставке. Она шла, будто не замечая, что происходит вокруг, с присущим ей печальным и тоскливым выражением лица. Увидев нас, она на секунду изумилась, и в этот миг наши взгляды встретились. Я увидел, что в ее глазах мелькнуло нечто похожее на улыбку, и вздрогнул, словно меня хлестнули плетью по затылку. Несмотря на то, что я был пьян, я отлично понимал, каким бедствием для меня было то, что я первый раз встретился с нею именно в таком состоянии, и каким было ее первое суждение обо мне, выраженное подобной улыбкой. Наконец я освободился из рук обнимавшей меня зрелой женщины. Мне захотелось во что бы то ни стало догнать «Мадонну в меховом манто». Не зная, что делать, что

говорить, я добежал до угла. Она исчезла. Я несколько минут оглядывался по сторонам, никого не было. Фрау ван Тидеманн подошла ко мне и спросила: «Что с тобой? Скажи мне, что с тобой случилось?» Взяв меня под руку, она потащила меня к дому. По дороге она прижимала мою руку к своему телу, наклонялась прямо к моему лицу. На этот раз ее жаркое дыхание стало для меня нестерпимо тяжелым... Несмотря на это, я не сопротивлялся. За свою жизнь я вообще не привык кому-либо сопротивляться. Все, на что я был способен, – только убежать, но сейчас я не мог сделать и этого. Не успевал я отойти и на три шага, как женщина снова меня ловила. В то же время только что произошедший со мной случай ошеломил меня. Поскольку я начинал трезветь, я старался обдумать все по порядку и хотел вспомнить глаза, которые несколько минут назад улыбались, глядя прямо мне в лицо. Все это казалось мне сейчас видением, всего лишь порождением моего лихорадочного ума. Нет, я ее не видел. Я не мог встретиться с ней в таком состоянии. Все это было кошмаром, который породили объятия женщины рядом со мной, ее поцелуи и ее дыхание, блуждавшее по моему лицу... Я хотел как можно скорее вернуться домой, сразу же оказаться у себя в кровати, уснуть и забыть обо всем как о кошмарном сне. Но вдова вовсе не собиралась меня отпускать. По мере того, как мы приближались к пансиону, ее движения становились все более бесстыдными, ее руки, которые усилила не унявшаяся страсть, сжимали меня все сильнее.

На лестнице она вновь бросилась мне на шею, но я ловким движением освободился и бросился наверх. Она бежала за мной следом, сотрясая лестницу своим крупным телом и задыхаясь. Когда я попытался вставить ключ в дверь моей комнаты, с другой стороны коридора показался герр Дёпке, бывший торговец из колонии. Он шел медленно. Я понял, что он до этого времени спать не ложился и ждал нас, и облегченно вздохнул: все, кто жил в пансионе, знали, что он обладает прочным материальным положением и испытывает по отношению к вдове, пребывавшей в том возрасте, когда женщины становятся в высшей степени страстными, некоторые сладостные желания. Говорили даже, что женщина не оставалась совсем чуждой к тем сердечным чувствам и что у нее были определенные планы относительно этого холостяка, который, хотя ему и было за пятьдесят, сохранял здоровье и бодрость. Внезапно столкнувшись в коридоре, оба

они на миг растерялись. Я тут же скрылся в свою комнату и заперся на ключ изнутри. Из-за двери донесся шепот, продолжавшийся долгое время. Было понятно, что задавались осторожные вопросы, на которые давались осторожные ответы, оказывавшие успокаивающее воздействие на уши того, кто решился верить. Через какое-то время звуки шагов и шепот удалились в другой конец коридора и исчезли.

Едва я лег в постель, как сразу заснул. Под утро мне приснился тревожный сон: женщина в меховом мантио в разных образах появлялась предо мной и изводила меня ужасающе-гнетущей улыбкой. Я хотел ей что-то сказать, о чем-то рассказать, объяснить все, но мне никак этого не удавалось. Пронзительный взгляд ее черных глаз сковывал мне язык. Я видел, что уже осужден ею и мне вынесен приговор, изменить который невозможно, изводился еще больше и впадал в еще более глубокое отчаяние.

Когда я проснулся, еще не рассвело. У меня болела голова. Я зажег лампу и попытался что-нибудь почитать. Строчки сливались у меня в глазах, и среди белых страниц в тумане передо мной стояло лицо с черными глазами, беззвучно и от души смеявшиеся над моим бедственным положением. Я верил, что вчера вечером мне всего лишь явилось видение, но все равно не мог успокоиться. Я встал, оделся и вышел на улицу. Наступало сырое, промозглое берлинское утро. На улицах не было никого, кроме мальчишек-разносчиков, развозивших на тележках по домам молоко, масло и булочки. Несколько полицейских на перекрестках отдирали со стен домов революционные воззвания, расклеенные ночью. Шагая по каналу, я дошел до Тиргартена. На поверхности застоявшейся воды застыли два лебедя, казавшиеся ненастоящими, словно игрушечными. Лужайки и скамейки в парке были мокрыми. На одной из скамеек кто-то оставил газету, на ней явно сидели, а рядом со скамейкой валялось несколько шпилек. Заметив шпильки, я вспомнил свое вчерашнее состояние. Должно быть, фрау ван Тидеманн в пивной и по дороге в пансион тоже выронила несколько шпилек, а сейчас, наверное, спала спокойным сном рядом с пожилым герром Дёпке, вовсе не считая необходимым вернуться к себе в комнату до того, как утром проснутся слуги.

В то утро я пришел на фабрику раньше, чем обычно, и весело поздоровался с охранником на входе. Я решил со всем усердием окунуться в учение и работу, чтобы таким способом спастись от

тягостных мыслей, рожденных бездельем. В тот день я долго делал заметки у себя в тетради, стоя у чанов с мылом, залитых розовой эссенцией. Я записывал, какая фабрика производит прессы, которые ставят клейма на мыло. Я уже видел себя директором большой современной мыловарни, которую мне предстояло открыть в Хавране, и представлял себе, как по всей Турции будет продаваться розовое мыло овальной формы, завернутое в шелестящую пахучую бумагу, на котором будет красоваться клеймо: «Мехмет Раиф – Хавран».

Ближе к обеду моя грусть потихоньку стала проходить, я вновь начал видеть жизнь в розовом цвете. Теперь я понимал, что расстраиваюсь из-за пустяка, и решил, что во всем виновата моя мечтательность и привычка фантазировать, замыкаясь в себе. Но отныне следовало измениться. Теперь мне предстояло хорошо учиться и читать больше книг по мыловарению, а не те, что я читал. Ведь у меня есть все, чтобы быть счастливым и благополучным.

В Турции меня ждали отцовские оливковые рощи, две фабрики в Хавране и одна мыловарня. Мне также достались бы акции обеих моих сестер, которые были выданы замуж за богатых людей, мне предстояло стать уважаемым в своем городе коммерсантом. Врагов из наших краев прогнали, национальная армия освободила Хавран. От отца приходили восторженные письма, пестревшие пылкими патриотическими изречениями. Духовный подъем, рожденный победой, ощущался даже здесь, в Берлине, и мы вкусили восторженных чувств, собравшись на большом приеме в посольстве. Находясь в пансионе, я теперь иногда нарушал свое обычное молчание и, опираясь на новые знания о военных операциях в Анатолии, принимался советовать двум отставным офицерам, сидевшим за столом рядом с герром Дёпке, как спасти Германию... В такие минуты скучать было не от чего. С какой стати основанный на выдуманных событиях роман, какой-то бессмысленный портрет (а даже если в нем и был какой-то смысл – какая мне разница?) приобрел значение в моей жизни? Нет, теперь мне решительно предстояло измениться...

Однако когда наступил вечер и стемнело, я вновь ощутил беспричинную грусть. Чтобы не встречаться за столом с фрау ван Тидеманн, я решил поужинать в закусочной и выпил две двойных порции пива. Несмотря на все мои усилия, дневной оптимизм не возвращался. Сердце непрерывно сжимало что-то гнетущее. Надеюсь,

что прогулка на свежем воздухе избавит меня от дурного расположения духа, я торопливо попросил счет. На улице накрапывал дождь, небо было в тучах. На низких облаках отражались красным многочисленные огни города. Я вышел на широкий длинный проспект Курфюрстендамм. Небо здесь было совсем светлым, и даже капли дождя, падавшие с небесной высоты, окрашивались в оранжевый цвет. По обеим сторонам проспекта тянулись кафе, кинотеатры, магазины. По мостовым, несмотря на дождь, прогуливались люди. Я медленно шел, думая о разных, не связанных друг с другом вещах. Мне словно хотелось отогнать от себя какую-то мысль, которая назойливо не желала меня покидать. Я старательно читал каждую вывеску, каждую светящуюся рекламу. Улица тянулась несколько километров, а я прошел ее несколько раз. Затем, свернув направо, направился к площади Виттенберг.

Здесь, перед универмагом KaDeWe, прохаживались юноши в красных сапогах с раскрашенными, как у женщин, лицами, зазывно поглядывавшие на прохожих. Я вытащил часы. Шел двенадцатый час. Время пролетело очень быстро. Внезапно я ускорил шаги, направляясь к площади Ноллендорф, находившейся неподалеку. На этот раз я прекрасно знал, куда иду. Вчера вечером именно в это время я встретил там «Мадонну в меховом мантио». Площадь была пуста. Перед большим зданием театра на южной стороне вышагивал полицейский. Я прошел к улице, выходящей на площадь с противоположной стороны, и пришел как раз туда, где вчера ночью мы стояли в обнимку с фрау ван Тидеманн. Я пристально смотрел вперед, словно под уличными фонарями внезапно должен был появиться человек, которого я искал. Хотя я внушил себе, что виденное мною вчера вечером было призраком, фантазией моей пьяной головы, сейчас я ждал здесь именно ее, ту женщину, а может быть, того призрака. На месте построений, возведенных силой моего рассудка с утра, нынче опять гулял ветер. Я вновь, как и прежде, был далек от реальности и вновь сделался игрушкой моего воображения и внутреннего мира.

Именно в это время я увидел силуэт женщины, которая перешла площадь и направлялась к улице, где я находился. Я встал на входе в парадное одного из домов и стал ждать. Через некоторое время я обернулся посмотреть и узнал женщину в меховом мантио, короткими и твердыми шагами приближавшуюся ко мне. На этот раз я не мог

обмануться. Я не был пьян. Стук ее каблуков эхом отражался от стен домов по обеим сторонам пустынной улицы. Мое сердце забилося с необычайной быстротой и заболело так, будто рвалось на части. Звуки шагов были совсем близко. Повернувшись к улице спиной, я стал играть с ручкой двери. Я сделал вид, что собираюсь открыть дверь и войти внутрь, и наклонился. Когда шаги послышались прямо у меня за спиной, я схватился за стену, у которой стоял, и мне стоило больших усилий, чтобы не упасть и не закричать. Женщина удалялась, а я, боясь вновь потерять ее из виду, пошел за ней следом. Я не видел ее лица. Сейчас я шел за ней на расстоянии пяти-шести шагов, хотя так боялся с ней встретиться. Казалось, женщина ничего не замечает. Если я искал, куда бы спрятаться, опасаясь, что она меня увидит, зачем же тогда я подстерегал ее? Зачем я сейчас шел за ней? И была ли то она? Отчего я решил, что какая-то женщина, которая в вечерний час прошла по какой-то улице, должна на следующий вечер снова пройти там же? Я не мог ответить на все эти вопросы. Я лишь шел за ней с неунивающимся трепетом и, думая, что она может внезапно обернуться и увидеть меня, волновался еще больше... Глядя перед собой, не видя ничего, кроме асфальта, я шел, повинувшись звуку ее шагов. Внезапно шаги стихли. Я тоже остановился. Склонив голову ниже, я ждал своей участи, как осужденный. Но ко мне никто не подошел, никто не спросил меня: «Почему вы идете за мной?» Лишь через несколько секунд я заметил, что там, где я стоял, было гораздо светлее, чем в других частях улицы.

Я медленно поднял глаза: никакой женщины нигде не было. В нескольких шагах впереди находилось довольно известное кабаре, двери которого были ярко освещены электрическими огнями. Огромная вывеска, резко выдававшаяся на улицу, мигала словом «Атлантик», выведенным синими лампочками, а фигуры из лампочек под надписью формой напоминали морские волны. Швейцар двухметрового роста в камзоле с эполетами и в красной фуражке, поклонившись, пригласил меня войти. Я подумал, что женщина вошла сюда и, не колеблясь, спросил:

– Сюда ли вошла женщина в шубе, которая шла передо мной некоторое время назад?

Швейцар, поклонившись еще раз, ответил:

– Да!

На его лице играла многозначительная ухмылка. Внезапно мне пришло в голову, что эта женщина, возможно, была одним из постоянных клиентов заведения. Об этом свидетельствовало то, что она каждый вечер приходила в одно и то же время. Вздохнув глубоко и облегченно, я снял пальто и вошел в зал.

Публики в зале было много. Посреди зала, в углублении, была круглая танцевальная площадка, напротив нее – оркестр, а по краям – просторные укромные ложи. Больше чем у половины этих лож шторы были задернуты; сидевшие внутри пары время от времени выходили танцевать, а затем вновь, вернувшись в свои ложи, задергивали шторы. Я пошел к одной из лож, которая, судя по всему, была свободна, сел в нее и спросил пива. Мое волнение прошло. Я неторопливо осмотрелся. Я надеялся, что найду ее, даму в меховом манто, женщину, из-за которой я несколько недель без сна, за одним из столиков рядом с пожилым либо молодым покровителем, и, увидев, как женщина, которой я придавал столь большое значение, столь глубокий смысл, выставляет себя на продажу, избавлюсь от всех пустых мечтаний. Но за столиками вокруг танцевальной площадки ее не было. Должно быть, она вошла в одну из лож. Я почувствовал, что горько улыбаюсь. Я злился на себя за то, что упрямо пытаюсь видеть людей не такими, какие они есть в действительности. Хотя мне исполнилось двадцать четыре года, я все еще не мог избавиться от своей детской наивности. Какое непомерно большое впечатление произвела на меня обычная, ничем не выдающаяся картина, какие необозримые надежды она породила во мне! Я придал так много смысла бледному человеческому лицу, что его описанием мог бы заполнить страницы книг, нашел в том лице свойства, которых на самом деле в нем не было. Между тем эта женщина, как и многие молодые женщины, предавалась пошлым удовольствиям в подобных увеселительных местах. А мех дикой кошки, которым я любовался, был, скорее всего, платой за здешние услуги.

Внимательно наблюдая по очереди за занавешенными ложами, я решил запечатлеть в памяти лица тех, кто в них сидел; через полчаса я окончательно запомнил все страстные парочки во всех укромных уголках. Было ясно, что дамы в меховом манто ни в одной из лож не было. Я внимательно всматривался внутрь всякий раз, как раскрывались и закрывались шторы лож, невзирая на то, что это

вызывало любопытство всех присутствующих. Ни в одной из них не было никого, кто бы все время сидел один или вместе с кем-то не выходил танцевать.

Меня вновь охватило гнетущее сомнение. Может быть, я и сегодня вечером обознался? Не могла же носить такой мех одна женщина на весь Берлин! Я ведь и лица ее не видел. Можно ли было узнать по походке даму, которая прошлым вечером смотрела на меня с язвительной улыбкой, когда я был не в себе? Да и видел ли я ее прошлым вечером на самом деле? Или все было лишь видением, как я и твердил себе сегодня весь день? Я начал бояться сам себя. Что со мной? Я нахожусь под таким впечатлением от картины... что предположил, будто изображенная на ней женщина появилась передо мной среди ночи, и, определив по звуку шагов и по шубе, что это она, начал преследовать случайного человека... Мне следовало сделать только одно: немедленно встать, уйти прочь и взять себя под жесткий контроль.

Внезапно свет в зале погас. Освещенным оставалось только место, где находился оркестр. Танцевальная площадка опустела. Через какое-то время началась медленная музыка. Среди звуков струнных инструментов послышался тихий голос скрипки. Звук постепенно приближался. Молодая женщина, одетая в белое платье с глубоким декольте, играя на скрипке, спустилась по ступенькам вниз на сцену. Она запела одну из модных в то время песен довольно низким, немного близким к мужскому альтовым голосом. Один из прожекторов, вычертив на полу овал, осветил ее.

Я сразу же узнал эту женщину. Теперь все мои колебания, сомнения, тысячи бессмысленных предположений улетучились. Мне показалось очень печальным, что она работает здесь и вынуждена так неискренне улыбаться и с такой неохотой кокетничать с гостями.

Женщину с картины можно было представить в любом состоянии, можно было даже представить, что она «пошла по рукам». Но я никак не мог подумать, что увижу ее такой. Ясно было, что положение ее было настолько жалким, что ее невозможно было сравнивать с той сильной, волевой, скромной и гордой женщиной, образ которой я создал в своем воображении.

Я сказал себе: «Было бы лучше мне увидеть ее такой, какой я до этого представлял, напившейся допьяна, в объятиях разных мужчин!»

Ведь, как бы то ни было, все это она делала бы по своей воле, хоть и не контролируя себя. Сейчас же было ясно, что ей совершенно не хотелось делать то, что она делала сейчас. В ее игре на скрипке не было ничего исключительного, голос ее был всего лишь красив сам по себе, точнее сказать, он был необычным. Она пела жалобные песни, при этом голос ее временами дрожал, будто пела не она, а какой-то пьяница-горемыка изливал душу. Застывшая, будто наклеенная улыбка словно ждала удобного случая, чтобы исчезнуть с ее лица, и когда скрипачка перед каким-нибудь столиком, пропев специально для очередного клиента несколько томных мелодий, переходила к следующему, ее лицо на какой-то миг приобретало то самое серьезное выражение, которое я видел на портрете. Ничто в мире не казалось мне печальнее, чем старания грустного от природы человека улыбаться через силу. Молодой пьяный мужчина за одним из столиков, к которому она приблизилась, приподнявшись со стула, поцеловал ее в обнаженную спину. Лицо ее сморщилось, словно бы ее ужалила змея, а по телу прошла дрожь, словно кожи коснулись льдинкой, но все это длилось короткое время, не больше, чем доля секунды. Затем я увидел, что она повернулась, смотрит на того человека с улыбкой и говорит ему глазами: «Как вы приятно мне сделали!»; посмотрев же на женщину, приятельницу мужчины, которая выглядела раздраженной таким поступком своего спутника, она покачала головой так, будто хотела сказать ей: «Не горюйте, сударыня, мужчинам можно проделывать с нами такое!»

После каждой песни раздавались жидкие аплодисменты, и женщина кивком давала оркестру знак играть дальше. Затем таким же жалобным голосом принималась петь следующую песню; неспешно вышагивая по паркету в белоснежном длинном платье, она двигалась от столика к столику и, стоя перед пьяными парами, висевшими друг на друге, либо перед задернутыми занавесками лож, за которыми неизвестно что происходило, прижав голову к скрипке, перебирала струны своими не очень-то умелыми пальцами.

Увидев, что она приближается к моему столику, я впал в панику. Я не знал, как мне смотреть на нее, что делать. Затем я посмеялся над собой. Смогла бы она узнать человека, которого видела вчера вечером на темной улице? Кем я мог быть для нее, кроме как обычным молодым человеком, очередным клиентом, пришедшим сюда

поразвлечься и найти подругу на ночь? И все же я склонил голову ниже. И тогда я увидел ее юбку, края которой были в пыли от грязного пола, а из-под юбки часть ее белой, с глубоким вырезом, туфли. Она была без чулок. Там, где начинались пальцы, был виден маленький кусочек обнаженной кожи шириной с мизинец, розоватый, несмотря на тусклый белый свет прожектора. Почему-то, когда я увидел его, то задрожал от стыда, будто увидел обнаженным все ее тело, и в этот момент поднял глаза. Она не пела, а только играла на скрипке, стояла передо мной и внимательно смотрела на меня. На ее лице фальшивой улыбки уже не было. Когда наши взгляды встретились, она глазами поздоровалась со мной. Да, она поздоровалась со мной, будто со старым другом, без натяжек, без усмешки, всего лишь закрыв и открыв глаза, но сделала это так ясно, что ошибиться было невозможно. Затем она улыбнулась. Чистой, открытой, честной улыбкой, как улыбаются старому другу... Поиграв еще какое-то время и кивнув мне, она перешла к другому столику.

Я почувствовал огромное желание вскочить, броситься ей на шею и со слезами расцеловать ее. Я не мог вспомнить, чтобы когда-нибудь в жизни был так счастлив, чтобы на душе моей было так легко и спокойно. Неужели возможно, чтобы один человек, почти ничего не предприняв, сделал другого таким счастливым? Всего лишь дружеское приветствие и искренняя улыбка... Другого мне было и не нужно. В тот миг я чувствовал себя самым богатым человеком на земле. Следуя за ней глазами, я бормотал: «Спасибо тебе... Спасибо!..» Я был рад убедиться, что оказался прав, рассматривая картину на выставке. Она была в точности такой, какой я ее себе представлял... Если бы она была другой, разве смотрела бы на меня так, словно узнала, разве приветствовала бы меня?

В какой-то момент меня охватило жгучее сомнение: «А вдруг она меня с кем-то спутала?» А может, она поздоровалась со мной лишь для того, чтобы соблюсти вежливость, потому что лицо человека, которого она видела вчера вечером на улице в безобразном состоянии, показалось ей знакомым, но она никак не могла вспомнить, откуда она меня знает? Но в ее глазах не было ни малейшего сомнения, она смотрела мне в глаза с полной уверенностью, что встретила друга, а затем улыбнулась. И это делало меня самым счастливым человеком на земле. Я сидел за своим столиком, и на лице у меня была та самая

дерзкая и спокойная улыбка довольного своей жизнью человека; я смотрел перед собой, по сторонам и на скрипачку, теперь удалившуюся в другой конец зала. Ее темные короткие волосы волнами ниспадали на затылок. Она склонялась то вправо, то влево по мере движений своих обнаженных рук, от которых мышцы на спине слегка подрагивали.

Допев последнюю песню, она быстрыми шагами удалилась за оркестр, а свет в зале загорелся вновь. Я какое-то время продолжал блаженствовать и от счастья ни о чем не думал. Затем я спросил себя: «Что мне делать теперь?» Следовало ли выйти на улицу и ждать ее у выхода? С какой целью? Что она подумает обо мне, если я, не будучи с ней знаком, подкараулю ее и скажу: «Могу ли я проводить вас до дома?» Следовало ли в ответ на крошечный знак внимания с ее стороны выступить с таким стандартным предложением обычного бабника?

Я решил, что самым благородным поступком будет сразу же уйти, а завтра вечером прийти снова. Дружбу лучше развивать постепенно. Для одного вечера и так слишком много. Я всегда с детства боялся «быстро потратить» свое счастье, мне всегда хотелось сохранить часть «на потом», для продолжения. Эта привычка стала причиной того, что я упустил немало удачных случаев стать счастливым, но я всегда опасался спугнуть удачу, пожелав слишком многого.

Я огляделся по сторонам, чтобы позвать официанта, и увидел ее. Скрипки у нее в руках не было. Шла она быстро, шла прямо ко мне, к моему столику и дружески улыбалась. Остановилась передо мной и, протянув руку, спросила:

– Как вы?

Только в этот миг я чуть избавился от своей растерянности и догадался встать:

– Спасибо... Хорошо!

Она села на стул напротив меня. Тряхнув головой, отбросила волосы, падавшие ей на щеки, и затем, глядя мне в лицо, сказала:

– Вы, наверное, сердитесь на меня?

Я совершенно растерялся. Я не понимал, что она хочет мне сказать, и на ум мгновенно пришло множество неподходящих предположений.

– Нет, – сказал я. – С какой стати?

Странно, но ее голос вовсе не показался мне незнакомым. Я помнил наизусть каждую черточку ее лица и даже нашел в ее чертах гораздо больше глубины, чем представлял себе раньше, но то было естественно. Я запечатлел ее образ в своем сознании, целыми днями любуясь ее портретом, а затем довел этот образ в своих фантазиях до полного совершенства при помощи «Мадонны Арпи». Но ее голос... Должно быть, я тоже где-то его слышал. Может быть, очень давно, в детстве. А может быть, только в мечтах.

Надо перестать об этом думать. Раз уж она сидит передо мной и со мной разговаривает, думать о чем-то другом глупо и бессмысленно.

Женщина вновь спросила:

– Значит, вы не обиделись? А почему вы тогда больше не пришли?

Господи!.. Она в самом деле спутала меня с кем-то другим! Я уже раскрыл было рот спросить: «Откуда вы меня знаете?» Но вдруг передумал: мне пришла в голову не очень порядочная мысль: а если она, поняв по моему вопросу, что ошиблась, извинившись, встанет и уйдет?

Сколько бы чудесный сон ни продлился, столько и будет хорошо! У меня нет никакого права его прерывать, остановить на половине, проснуться – пусть даже ради правды.

Женщина, увидев, что я не отвечаю, вновь спросила:

– Так вы получаете письма от вашей матери?

Ужасное изумление длилось меньше секунды, а затем я вскочил со стула. Схватив ее за руки, я воскликнул:

– Господи, так это были вы?!

Теперь мне стало все понятно. Я вспомнил, где слышал этот голос.

Женщина звонко рассмеялась:

– Вы такой смешной, как ребенок!

И смех я тоже вспомнил. Это была та самая женщина, которая подошла ко мне, когда я задумчиво сидел на выставке перед картиной, спросить, что я нахожу в том портрете, а когда я ответил, что она похожа на мою мать, рассмеялась, что у меня нет фотографии моей матери. Я никак не мог понять, как я тогда сразу ее не узнал. Неужели картина захватила меня настолько, что лишила способности видеть оригинал?

Я пробормотал:

– Но вы тогда совсем не были похожи на ваш портрет!
– Откуда вы знаете? – улыбнулась она. – Вы же не смотрели мне в лицо!

– Нет, смотрел... Но как такое может быть?

– Правда, вы взглянули несколько раз... Но как взглянули? Лишь чтобы не видеть!

Затем, вынимая руки, все еще лежавшие в моих ладонях, она добавила:

– Когда я вернулась к своим друзьям, я не сказала им, что вы меня не узнали. Иначе они бы очень над вами посмеялись!

– Спасибо!

Она слегка задумалась; на ее глаза будто набежало облачко; внезапно она посерьезнела:

– Ну, вы все еще хотите, чтобы у вас была такая мать?

Сначала я запнулся, затем быстро ответил:

– Конечно... Конечно... Еще как!

– В тот раз вы сказали то же самое!

– Наверное...

Она вновь улыбнулась:

– Так могу ли я быть вам матерью?

– О, нет-нет!

– А может быть, старшей сестрой?

– Сколько вам лет?

– Разве у женщин спрашивают такие вещи? Ну хорошо: двадцать шесть!.. А вам?

– Двадцать четыре!

– Вот видите! Я могу быть вам старшей сестрой!

– Да...

Какое-то время мы молчали. Я чувствовал, что мне нужно очень многое ей сказать, бесконечно многое, так что нескольких лет бы не хватило для этого рассказа... Но сейчас ничего не приходило в голову. Она тоже, не говоря ни слова, смотрела перед собой. Правым локтем она оперлась о стол. Вторая рука свободно лежала на белой скатерти. Пальцы были узкими и острыми в кончиках, из-за чего казалось, что кости у нее очень тонкие. Кончики пальцев покраснели, словно бы она замерзла. Я вспомнил, что руки у нее, которые я совсем недавно

держал в своих ладонях, были и в самом деле холодными. Сознательно решив воспользоваться этим, я сказал:

– У вас такие холодные руки!

Не колеблясь ни секунды, она тут же протянула мне обе руки:

– Согрейте!

Я посмотрел ей в глаза. Ее взгляд был волевым и властным. Кажется, она не находила ничего особенного в том, чтобы вверить обе руки человеку, с которым она разговаривает впервые. А может?.. Мне на ум приходили все те же неуместные предположения. Чтобы выбросить все это из головы, я заговорил:

– Меня отчасти можно простить за то, что я не смог узнать вас на выставке! Вы выглядели такой веселой, насмешливой даже! И потом, как бы это сказать... Весь ваш вид и ваши жесты противоречили образу на картине... Волосы короткие... Юбка тоже короткая, одежда облегающая... Вы шли так, будто бежали вприпрыжку... Сравнить вас с той серьезной, задумчивой, и даже, наверное, немного грустной женщиной с портрета, который критики называли «Мадонной», было довольно трудно... Но я все равно удивлен... Значит, я такой рассеянный!

– Да, рассеянный... Я помню вас с первого дня, когда вы пришли на выставку. Вы бродили с таким видом, что было видно, как вам скучно, но внезапно остановились перед моим портретом... Вы с таким необыкновенным вниманием его рассматривали, что удивлялись даже проходившие мимо посетители. Я сначала решила, что портрет напомнил вам кого-то из ваших знакомых. Затем вы начали приходить каждый день. Меня охватило любопытство, которое можно легко понять. Я несколько раз подходила к вам и смотрела на картину вместе с вами, почти наедине с вами. Но вы ничего не замечали, меня не узнавали, хотя несколько раз переводили взгляд на докучливого зрителя, который мешает вам смотреть. В вашей рассеянности была странная привлекательность... Как я уже сказала, мне тоже стало любопытно. В конце концов я решила подойти и заговорить с вами. У других художников, моих приятелей, вы тоже вызывали любопытство. Они-то и настояли... Лучше бы я этого не делала! Мы вас после этого совсем потеряли, вы перестали приходить на выставку!

– Я решил, что надо мной смеются! – сказал я. Но сразу же пожалел о своих словах. Она могла обидеться. Однако она согласилась:

– Вы правы!

Затем, взглядываясь в мое лицо, словно ища в нем что-то, она спросила:

– Вы один в Берлине, не так ли?

– В каком смысле?

– То есть – один... У вас никого нет... Духовно одиноки... Вы выглядите так, будто...

– Понимаю, понимаю... Я совсем один, но не в Берлине... Во всем мире я одинок... С самого детства...

– Я тоже одна... – сказала она. И на этот раз взяв мои руки в свои ладони, добавила:

– Настолько одна, что удавиться хочется... Как больная собака...

Сильно сжав мои пальцы, она слегка приподняла их, а потом ударила ими об стол:

– Мы можем с вами подружиться! – сказала она. – Вы со мной только что познакомились, но я вас изучала примерно двадцать дней. В вас есть что-то, что делает вас непохожим на всех. Да, мы сможем с вами очень близко подружиться...

Я удивленно посмотрел на нее. Что она хотела этим сказать? Что могла предложить такими словами женщина – мужчине? Я ничего не знал. У меня не было никакого опыта, я совсем не знал людей.

Она это заметила. На ее лице появилось волнение, как у человека, который сказал лишнее и боится, что его неверно поймут:

– Вы только, пожалуйста, не поймите меня неправильно, – сказала она. – Не пытайтесь придать моим словам другой смысл. Я всегда разговариваю так откровенно... Как мужчина... Во мне вообще много мужского... Может быть, поэтому я и одна...

Она смерила меня долгим оценивающим взглядом. И внезапно сказала:

– А в вас есть что-то женское... Я только сейчас замечаю... Может, поэтому я и нашла в вас с самой первой минуты, как увидела, нечто симпатичное мне... В вас есть что-то девичье.

Меня огорчило и смутило, что человек, с которым я разговариваю впервые, говорил мне слова, которые я много раз слышал от отца с матерью. А она продолжала:

– Никогда не забуду ваш вчерашний вид! Всю ночь вспоминала со смехом! Вы бились, как девочка, которая защищает свою честь. А

спастись-то от фрау ван Тидеманн не очень-то легко.

От удивления я широко раскрыл глаза:

– Вы и с ней знакомы?

– Прекрасно знакома. Она моя родственница! Дочь маминого брата. Но сейчас мы в ссоре, не я, мама не хочет с ней общаться, из-за ее поведения... Ее муж был адвокатом. Погиб в мировую войну. А сейчас, как говорит моя мать, она ведет «неподходящий» образ жизни. Но нам-то какое дело? Так что случилось вчера вечером? Вам удалось спастись? Откуда вы ее знаете?

– Мы живем в одном пансионе. Вчера вечером мне удалось спастись лишь по счастливой случайности. У нас в пансионе живет некто герр Дёпке, который имеет виды на дочь вашего дяди. Вот мы его и встретили.

– Хоть бы они поженились.

Я понял, что она хочет сменить тему разговора. Какое-то время мы молчали. Мы оба пытались украдкой изучить друг друга, и когда наши взгляды внезапно сталкивались, каждый продолжал смотреть на собеседника с одобрительной улыбкой, будто говоря: «Я доволен тем, что я вижу».

Я нарушил молчание первым:

– Значит, у вас есть мать?

– Как и у вас!

Мне стало стыдно, будто я спросил что-то бессмысленное. Она заметила это и перевела разговор на другое:

– Я вижу, вы здесь в первый раз!

– Да, я еще ни разу не бывал в таких местах... Только сегодня вечером...

– Сегодня вечером?

Набравшись храбрости, я признался:

– Я шел за вами следом!

Она немного удивилась:

– Так это вы шли за мной до самого входа?

– Да. Значит, вы заметили?

– Конечно... Разве женщина может не замечать такие вещи?

– Но вы не обернулись!

– Я никогда не оборачиваюсь...

Она помолчала некоторое время. О чем-то размышляла, а затем озорно улыбнулась:

– Это у меня такое развлечение! Как только на улице я замечаю, что кто-то идет за мной следом, я стараюсь, несмотря на огромное любопытство, не поворачиваться и строю разные догадки. Может, за мной следом идет молодой человек. А может быть, старый опустившийся охотник за юбками. Может быть, это богатый принц, или бедный студент, или даже просто пьяный бродяга. По звуку шагов я пытаюсь определить, кто идет, и так прихожу, куда направлялась, сама не заметив, как дошла. Значит, сегодня вечером это были вы? А я по вашим нерешительным шагам решила, что вы – пожилой женатый человек.

Внезапно серьезно посмотрев мне в глаза, она спросила:

– Вы меня караулили?

– Да.

– Как вы предположили, что сегодня вечером я пойду там же? Вы знали, что я здесь работаю?

– Нет, но... не знаю... может быть, я сказал... Может быть, даже и не сказал... Но я незаметно для себя оказался на том же месте в то же время... А когда вы шли мимо, я испугался, что вы меня увидите, и от страха спрятался за дверь одной парадной.

– Давайте уйдем отсюда... По дороге поговорим...

Заметив мою растерянность, она спросила:

– Не хотите проводить меня до дома?

Я тут же вскочил. Это ее насмешило.

– Не торопитесь, друг мой. Я еще пойду переодеться. Ждите меня у дверей через пять минут!

Она быстро поднялась и, приподнимая правой рукой подол платья, быстрыми шагами скрылась за оркестром. Уходя, она вновь посмотрела мне в глаза и напоследок подмигнула, как другу, которого знает уже много лет.

Позвав официанта, я оплатил счет. Нежданная легкость овладела мной. Я осмелел. Официант писал какие-то цифры к себе в блокнот, а я открыто смотрел на него – неужели не видит он моего счастья? Мне хотелось улыбаться каждому зрителю в зале, музыкантам в оркестре. Мне хотелось обнять всех людей, весь мир, словно я встретил старых друзей после долгих лет разлуки.

Наконец я поднялся и направился в гардероб. Я шел ровной походкой уверенного в себе человека и даже вручил марку на чай гардеробщице, хотя показная щедрость была не в моих правилах. Оказавшись перед выходом, я вздохнул полной грудью и осмотрелся. Вывеска «Атлантика» погасла, неоновых волн теперь было не видно. К западу, на ясном небе, почти у линии горизонта, мерцал тоненький полумесяц.

Из-за спины раздался тихий голос:

– Давно меня ждете?

– Нет... Только что вышел, – обернулся я.

Она стояла передо мной, прищурившись, словно раздумывая, прежде чем решиться на что-то. Наконец, едва шевеля губами, произнесла:

– А вы в самом деле похожи на хорошего человека!

С ее появлением моя смелость и раскрепощенность улетучились. Мне страстно хотелось броситься благодарить ее, целовать ей руки, а я смог лишь пробормотать едва слышно:

– Не знаю!

Она непринужденно взяла меня за руку, а другой рукой – за подбородок. И вдруг мягко, словно успокаивая ребенка, проговорила:

– О, да вы смущаетесь, как молоденькая девушка!

Действительно – лицо мое пылало, я не мог поднять глаза. Мне было крайне неловко, что женщина так со мной обращается. Однако дальше она решила не заходить. Сначала отпустила мой подбородок, затем медленно выпустила мою руку. Когда я поднял глаза, я изумился. Стоявшая передо мной была сильно смущена. На лице ее читался стыд. От шеи к щекам расплылись красные пятна. Она закрыла глаза, не решаясь смотреть на меня. Мне подумалось: «Почему она так поступает? Она ведь совсем не такая... Но зачем она так поступает?»

Она словно угадала мои мысли:

– Вот я какая! Я – странный человек. Если хотите со мной дружить, вам придется терпеть многое... Я, бывает, беспричинно капризничаю, у меня постоянно меняется настроение... Короче говоря, тем, кто со мной дружит, я создаю много пустых проблем.

Затем, будто рассердившись на то, что говорит о себе дурное, она резко, даже грубо добавила:

– Но если уж вам так хочется со мной дружить... Я, правда, ни в ком не нуждаюсь. И не собираюсь никому быть благодарной, не собираюсь ни кого просить о дружбе и жалости. Только если вам самому этого хочется.

Я тихо и робко сказал:

– Я попытаюсь вас понять.

Мы прошли несколько шагов. Она осторожно взяла меня под руку и спокойно заговорила, будто речь шла о чем-то обыденном:

– Значит, вы попытаетесь меня понять? Хорошая мысль... Правда, мне кажется, это – напрасные усилия! Я не всегда могу быть хорошим другом. Время покажет... Если я буду устраивать мелкие ссоры по пустякам, не придавайте им значения.

Она остановилась посреди дороги, подняла правую руку и погрозила мне указательным пальцем, как проказливому ребенку:

– Запомните: если вы хоть что-то у меня попросите, это будет означать конец всему. Понятно? Ничего, вы не должны просить ничего... – Затем раздраженно, будто с кем-то уже ссорилась, добавила: – Знаете, почему я больше всего в мире ненавижу вас всех, то есть всех мужчин? Только потому, что они всегда хотят слишком много, будто это – их естественное право... Эти требования не всегда – в словесной форме, не поймите меня неправильно. Но у мужчин бывают такие взгляды, такие улыбки, такие жесты, короче говоря, они так обращаются с женщинами, будто... Нужно быть слепым, чтобы не замечать, насколько глубоко и насколько глупо они уверены в себе. Достаточно видеть их изумление, когда на свои требования они получают отказ в той или иной форме, чтобы понять их бесцеремонность. Они никогда не перестают считать себя вечными охотниками, а нас – вечной жертвой. Наша обязанность – повиноваться, слушаться их, давать им все, что они хотят... Мы же не можем ничего хотеть и не можем ничего дать, кроме себя... Ненавижу эту пустую мужскую самонадеянность. Понимаете? Вот почему я полагаю, что мы с вами сможем дружить. В ваших поступках нет этой наглости... Хотя... Сколько раз я видела, как в шкуре ягненка скрывается волк!

Примерно на половине ее речи мы пошли дальше. Она шагала торопливой и резкой походкой. Говорила, глядя то вверх, то вниз, сильно жестикулируя. Между фразами она делала длинные паузы и

продолжала идти, опустив глаза, от чего всякий раз создавалось впечатление, что она закончила говорить.

Мы прошли немалое расстояние. Она погрузилась в молчание. А я робко шел рядом с ней и тоже молчал. На одной из улиц в окрестностях Тиргартена она остановилась перед трехэтажным домом:

– Я живу здесь, с мамой. Наш разговор мы продолжим завтра. Но туда больше не приходите. Мне неприятно показываться перед вами в таком виде... Можете считать это баллом в свою пользу... Давайте встретимся завтра днем. Погуляем вместе. У меня есть в Берлине места, где я люблю гулять одна. Посмотрим, понравится ли вам. А теперь – спокойной ночи. Минуточку: я ведь до сих пор не знаю, как вас зовут!

– Раиф!

– Раиф? И только?

– Хатип-заде Раиф!

– О, невозможно... Ни запомнить, ни выговорить! Буду называть вас просто Раиф, хорошо?

– Мне будет приятнее!

– А вы тогда можете называть меня Мария... Я ведь сказала, что не хочу быть никому ни чем обязанной!

Она вновь улыбнулась, и ее лицо, менявшееся уже несколько раз, вновь приобрело мягкое, приветливое выражение. Она сжала мою руку в своей ладони. Пожелав еще раз спокойной ночи нежным голосом, словно бы за что-то просила у меня прощения, она вытащила из сумочки ключи и повернулась к крыльцу. Я медленно зашагал прочь. Но не прошел я и десяти шагов, как услышал ее голос:

– Раиф!

Я обернулся.

– Идите! Идите сюда! – позвала Мария. Было слышно, что она едва сдерживает смех.

– Я счастлива, что мне так быстро представился случай назвать вас по имени! – церемонно, но со смехом сказала она.

Она стояла на ступенях крыльца, и мне пришлось поднять голову, чтобы увидеть ее лицо. Но она стояла в полутьме, и я ничего не видел. Я ждал, что она продолжит разговор. Между тем она, пытаясь сдерживать смех, спросила:

– Значит, уходите?

Мое сердце забилося, я сделал шаг вперед. Смутно предположив нечто неясное, не зная даже, радоваться мне этому или нет, и с надеждой, о которой страшно было даже помыслить, я спросил:

– Не уходить?

Мария спустилась вниз. Теперь ее лицо было хорошо видно в свете уличных фонарей. Своими черными глазами она с лукавым любопытством разглядывала меня:

– Вы еще не поняли, почему я позвала вас обратно?

Я понял, понял... И уже хотел с криком «Иду!» броситься к ее рукам. Однако гораздо сильнее этого желания вдруг почувствовал резкую слабость, какую-то растерянность, даже смятение. Густо покраснев, я смотрел перед собой. Нет, нет! Такого я не хотел!

Женщина провела рукой мне по лицу:

– Что с вами? Вы вот-вот заплачете! Вам и в самом деле нужна мать... Скажите: вы сейчас от меня уходили, так?

– Да!

– Мы с вами договорились, что вы больше не должны искать меня в «Атлантике», так?

– Да! И что встретимся завтра днем!

– Где?

Я глупо посмотрел на нее. Об этом я совсем не думал. И спросил умоляюще:

– Вы для этого меня позвали?

– Конечно. Вы действительно не похожи на других мужчин. Для них главное – упрочить отношения. А вы, развернувшись, уходите. Но ведь человек, которого вы ищете, не будет всегда являться у вас на пути по вашему желанию, как сегодня.

Я почувствовал, как гнетущее мою душу сомнение тает. Ведь я боялся пережить с ней обычную интрижку. Я не смог бы пойти на это. Я бы предпочел показаться ей глупым и неумелым, чем увидеть «Мадонну в меховом мантио» в подобном положении. Но и такой вариант был бы мучителен. Мысль о том, что она будет смеяться мне вслед, насмехаться над моей простотой и робостью, могла стать столь тяжелой, что мне пришлось бы окончательно отвернуться от людей, полностью замкнувшись в себе и окончательно утратив надежду.

Но теперь на сердце было спокойно. Было лишь невероятно стыдно из-за непристойных подозрений, владевших мной несколько

минут назад, и глубокая признательность к стоявшей передо мной девушке, избавившей меня от низких подозрений, охватила меня. Решившись, я с нежданной смелостью произнес:

– Вы поразительная женщина!

– Не торопитесь. Будьте осторожны, когда делаете выводы обо мне! – улыбнулась она.

Я бросился целовать ее руки. Возможно, на глаза мне навернулись слезы. Я видел, что на какой-то миг лицо ее преобразилось, приблизилось ко мне, и она будто обняла меня взглядом, ставшим теплее, чем до сих пор. От счастья, бывшего на расстоянии нескольких сантиметров от моего лица, у меня чуть было не остановилось сердце. Но внезапно она резко высвободила руки, выпрямилась и поднялась на крыльцо.

– Где вы живете?

– На Лютцовштрассе.

– Это недалеко. В таком случае приходите завтра после обеда сюда и встретьте меня!

– В какой квартире вы живете?

– Я подожду вас у окна. Вам нет необходимости подниматься наверх.

Она повернула ключ, уже вставленный в замочную скважину, и вошла в дом.

На этот раз я быстрыми шагами направился домой. Собственное тело казалось мне легче обычного. Перед глазами все время стоял ее образ. Я что-то бормотал на ходу, что именно – сам не понимал. Когда я прислушался к своим словам, понял, что все время повторяю ее имя и говорю ей множество нежных слов. Время от времени я коротко и беззвучно смеялся от радости. Когда я вернулся в пансион, небо начало светлеть.

Возможно, впервые с самого моего детства я заснул без мысли, что жизнь моя бессмысленна и пуста; заснул, не сказав себе тоскливо: «Вот и этот день прошел. И остальные дни пройдут так же. А что потом?»

На следующий день на фабрику я не пошел. Около половины третьего, пройдя через Тиргартен, я подошел к дому, где жила Мария Пудер. «Может, я пришел слишком рано?» – спрашивал я себя. Я не решился беспокоить ее, подумав, что она не спала всю ночь из-за

утомительной ночной работы. Я чувствовал к ней такую нежность, что невозможно описать. Я представлял себе, как она лежит в постели, как она дышит, как ее волосы разметались по подушке, и думал, что нет в жизни большего счастья, чем увидеть эту картину.

Казалось, все скопившееся во мне внимание, которое я всю жизнь не желал ни на кого тратить, вся скопившаяся во мне любовь, которую я по-настоящему ни к кому до сих пор не испытывал, готовы были сейчас излиться перед этой женщиной.

Я сознавал, что мне ничего о ней не известно, что мои суждения о ней основываются на воображении и мечтах. Вместе с тем я чувствовал неколебимую уверенность в том, что никогда не обманусь в ней.

Всю мою жизнь я искал, я ждал ее, только ее одну. Разве могли мои чувства, приобретшие остроту и почти болезненную опытность в познании всего, что доводилось встречать мне в жизни, обманываться теперь, когда я изучил ее со всех сторон, сведя воедино все свое внимание, всю свою суть? Прежде эти чувства не ошибались никогда. Они первыми делали суждение о человеке, а затем мой разум и опыт меняли его, и чаще всего ошибочно. Однако истинным всегда оказывалось именно первое чувство. Человек, о котором у меня было хорошее мнение, со временем плохо проявлял себя. А бывало и наоборот. Тогда я говорил себе: «Значит, первое впечатление меня обмануло!» Между тем проходило время – много времени или мало, – а я был вынужден признать правоту первого моего впечатления и то, что изменение его под влиянием рассудка, внешних обстоятельств или обманчивых фактов оказалось ложным и временным.

Мария Пудер стала человеком, который был мне, безусловно, необходим для того, чтобы жить. Поначалу это казалось мне странным. Как может ни с того ни с сего стать необходимым человек, о существовании которого совсем недавно ты еще не знал? Но ведь так всегда и бывает. Ведь мы всегда понимаем, что нам необходимо что-то, только после того, как мы увидели это и познали. Я сам заметил пустоту и бесцельность моей прежней жизни лишь потому, что был лишен такого человека. Беспричинным и бессмысленным казалось мне теперь то, что я избегал людей, что стеснялся хоть немного показать окружающим свои чувства. Я боялся, что тоска и отвращение к жизни, иногда поражавшие меня, являются симптомами какой-то душевной

болезни. Два часа, проведенные за чтением книги, бывали для меня гораздо насыщеннее и важнее, чем несколько лет жизни, и я часто думал о том, что человеческая жизнь – пугающая пустота, и погружался в отчаяние.

Однако сейчас все переменялось. За несколько недель, с того момента, как я увидел ее портрет, я пережил гораздо больше, чем за все годы моей жизни. Отныне каждый мой день, каждый мой час, даже время сна – все было заполнено до краев. Жизнь появилась не только в моем утомленном теле; жить начала и душа. Во мне внезапно проявились неизвестные мне скрытые глубоко стороны, оказавшиеся весьма ценными и привлекательными. Мария Пудер показала мне, что у меня есть душа, а я, благодаря ей, впервые заметил душу в постороннем человеке. Конечно, у каждого человека есть душа, однако немногие ее замечают, но все равно продолжают идти своей дорогой, так же не замечая ее. А душа проявляется только тогда, когда находит душу себе подобную, и, решив проявиться, не советуется с нами, нашим разумом и расчетами... И тогда мы начинаем жить по-настоящему – жить душой. В такой миг все условности, сомнения и стыд остаются в стороне, а души, пренебрегая всем на свете, стремятся друг к другу. Теперь моя застенчивость прошла. Я сгорал от желания излить всю душу перед этой женщиной, обнажить перед ней все свои хорошие и плохие, сильные и слабые стороны, не скрывая ни малейшей детали. Мне нужно было так много рассказать ей... Я думал, что мне не хватит всей жизни, чтобы рассказать ей все. Ведь всю жизнь я молчал... Раньше я говорил о каждом человеке: «Он меня не поймет!», ни на чем не основываясь и повинуюсь лишь первому чувству, которому невозможно было противостоять, лишь преждевременному суждению. На сей раз то самое первое впечатление, которое невозможно обмануть, шептало мне, что именно эта женщина меня поймет...

Я шел медленно и дошел до канала на южной окраине Тиргартена. С моста был виден дом Марии Пудер. Пробило три часа. Стекла блестели, и поэтому было не видно, стоит ли кто-нибудь за каким-нибудь окном. Облокотившись о перила моста, я смотрел на неподвижную воду канала. Вода покрылась рябью от капель недавно начавшегося мелкого дождя. Далеко впереди с большой баржи сгружали овощи и фрукты в машины на пристани. С деревьев по краям

канала падали листья, и каждый лист, сделав несколько кругов в воздухе, плавно летел вниз. Какой красивой была та мрачная, унылая картина! Каким свежим казался мне тот сырой воздух! Как прекрасно жить, наблюдая за малейшими движениями природы; жить, следя за течением жизни с ее стройной логикой; жить, зная, что проживаешь больше всех, сильнее всех, зная, что каждое мгновение наполнено, как целая жизнь... И как особенно прекрасно жить, зная, что существует человек, которому обо всем этом можно рассказать; как прекрасно жить, ожидая встречи с этим человеком...

Разве в целом мире могло что-то доставить больше радости? Сейчас нам предстояло пройти вместе по сырым дорожкам, остаться друг с другом наедине в уединенном, сумрачном месте. Я собирался многое рассказать ей, многое, что до сих пор не рассказывал никому, даже самому себе. Почти все, что я собирался рассказать, в одно мгновение рождалось у меня в голове, но с повергавшей меня в изумление скоростью тут же исчезало, освобождая место для новых мыслей. Мне предстояло вновь взять в ладони ее руки и согреть их, потирая ее замерзшие пальцы с покрасневшими кончиками. Одним словом, мне предстояло быть с ней.

Было уже около половины четвертого. «Интересно, она проснулась?» – подумал я. Может быть, стоило пойти к дому? Она сказала, что будет смотреть в окно. Догадается ли она, что я буду ждать ее здесь? И вообще, придет ли она? Я тут же отогнал от себя сомнение. Мне казалось, что эта мысль будет проявлением недоверия и несправедливостью по отношению к ней и разрушит прекрасный замок, который я сам построил. Но предположения, уже раз посетившие меня, отступать не собирались и с большой скоростью следовали одно за другим. Она могла заболеть. Она могла уйти куда-нибудь по срочному делу. Так должно было случиться. Такое счастье не могло прийти столь легко и быстро. С каждой минутой мое беспокойство усиливалось, сердце билось быстрее. Произошедшее со мной вчера вечером было тем исключительным случаем, какие бывают только раз в жизни. Ожидать повторения было бы заблуждением. Мой разум даже принялся искать утешения. Может быть, крутой поворот жизненного пути, суливший мне новые и неведомые перспективы, вовсе не привел бы меня к счастью? Разве не было бы удобней

вернуться к прежнему спокойствию, вновь погрязнуть в прежней череде лениво текших дней?

Повернувшись, я увидел, что она идет ко мне. На ней был тонкий плащ, на голове светло-синий берет, на ногах – туфли на низком каблуке. Она улыбалась. Подойдя ближе, она протянула руку и спросила:

– Вы ждали меня здесь? И сколько времени ждали?

– Уже час!

От волнения у меня дрожал голос. Ей послышалась в этой дрожи жалоба, и она с шуточным укором сказала:

– Вы сами во всем виноваты, сударь. Я вас жду уже полтора часа. И только недавно, случайно заметила, что вы предпочли наслаждаться поэтической картиной, вместо того чтобы подойти к дому!

Значит, она меня ждала. Значит, я был ей важен. Я заглянул ей в глаза, как кот, которого приласкали:

– Спасибо!

– За что вы благодарите?

Не дожидаясь ответа, она взяла меня под руку:

– Ну, пойдете!

Я пошел, повинуясь ей. Она шла короткими, быстрыми шагами. Я боялся спросить, куда мы направляемся. Мы не разговаривали. Я был несказанно доволен этим молчанием, но в то же время нервничал, что молчу, а нужно что-нибудь сказать. Красивые мысли, недавно лихорадочно сменявшие одна другую и безмерно превосходившие друг друга по важности и необходимости, исчезли. Я попытался заставить себя о чем-нибудь подумать, но почувствовал, что в голове опустело окончательно, а мозг – лишь кусок плоти, который мучает дергающая боль. Я краем глаза посмотрел на Марию и увидел, что мое волнение и беспокойство никак не передались ей. Она продолжала идти, опустив черные глаза вниз; на лице ее застыло спокойствие, а в уголках губ затаилась неясная улыбка. Левой рукой она небрежно взяла меня под руку, и ее чуть приподнятый указательный палец словно указывал на что-то впереди.

Когда я снова посмотрел на нее, то заметил, что ее густые и слегка растрепавшиеся брови приподняты, словно она о чем-то размышляет. На ее веках проступали тонкие синие жилки. Черные густые ресницы

слегка дрожали, на них сверкало несколько крошечных капель дождя. Волосы ее тоже были влажными.

Внезапно повернувшись ко мне, она спросила:

– Почему вы так внимательно на меня смотрите?

Этот вопрос в то же самое время возник и у меня: как могло случиться, что я долго рассматривал ее, совершенно не стесняясь и даже не задумываясь над тем, что я, возможно, впервые в жизни так внимательно смотрю на женщину? И как могло получиться, что я, даже услышав ее вопрос и заметив ее взгляд, не теряя смелости, продолжаю смотреть на нее? Смело, изумляясь сам себе, я спросил:

– Вам этого не хочется?

– Нет, я просто спросила. Может быть, хочу, поэтому и спросила!

У нее были такие черные, такие выразительные глаза, что я, не выдержав, поинтересовался:

– Вы на самом деле немка?

– Да! Почему вы спросили?

– Немки обычно блондинки с голубыми глазами, а вы – не такая.

– Бывает и так!

Улыбка на ее лице омрачилась легкой тенью какого-то сомнения.

– Мой отец был евреем, – сказала затем она. – Мать – немка. Но она тоже не блондинка!

Я с любопытством спросил:

– Значит, вы – еврейка?

– Да... А вы что – тоже враг евреев?

– С какой стати! У нас этого нет. Но я не предполагал.

– Да, я еврейка. Отец был родом из Праги. Но стал католиком еще до моего рождения.

– В таком случае вы по вере – христианка?

– Нет... Я далека от какой бы то ни было веры.

Мы шли уже долго. Она продолжала молчать.

Я тоже ни о чем не спрашивал. Мы приближались к окраинам города. Мне стало интересно, куда мы направляемся. Вряд ли стоит гулять где-то за городом в такую погоду. Продолжал накрапывать дождь. Внезапно Мария спросила:

– Куда мы идем?

– Не знаю!

– Вам совсем не любопытно, куда мы идем?

– Я следую за вами... Куда хотите!

Она повернула ко мне бледное влажное лицо, напоминавшее белоснежный цветок, покрытый каплями росы:

– Вы очень послушный. И у вас нет никаких идей, никакого пожелания?

Я вспомнил ее вчерашние слова:

– Вы запретили мне что-либо желать от вас! – Она не ответила. Подождав какое-то время, я продолжил: – А может, вы пошутили вчера вечером? Или сегодня передумали?

Она резко ответила:

– Нет! Я думаю по-прежнему.

И вновь погрузилась в свои мысли.

Мы подошли к большому саду за железной оградой. Замедляя шаги, она сказала:

– Зайдемте сюда?

– Что здесь?

– Ботанический сад!

– Как скажете!

– Тогда зайдемте. Я всегда гуляю здесь. Особенно в такую дождливую погоду.

В саду никого не было. Мы долго бродили по песчаным дорожкам. Многие деревья, несмотря на позднюю осень, еще не сбросили листву. Вокруг больших, выложенных диким камнем бассейнов росли цветы и водоросли всех сортов и красок. На поверхности воды красовались огромные листья кувшинок. За высокими стенами оранжерей росли растения из жарких стран, толстоствольные деревья с маленькими листиками. Мария сказала:

– Это самое красивое место в Берлине... В это время года здесь довольно безлюдно. Посетителей почти не бывает. А эти удивительные деревья рассказывают мне о далеких странах, которые мне так хочется увидеть! Мне немного жаль их. Ведь их оторвали от родных мест, привезли сюда и пытаются вернуть к жизни искусственными мерами. Вы знаете, что в Берлине только сто дней в году бывают ясными, а двести шестьдесят пять дней – пасмурные? Могут ли прожектора оранжерей и искусственное освещение заменить этим деревьям, привыкшим к свету и теплу, солнце? А они все равно живут, не засыхают, несмотря ни на что... Но разве это называется жизнью?

Разве не пытка – оторвать живое существо от климата, к которому оно привыкло, и, ради развлечения нескольких любопытных, подчинить скверным условиям?

– Однако вы тоже – одна из этих любопытных...

– Да. Но каждый раз, когда я здесь, меня переполняет грусть.

– В таком случае зачем вы приходите?

– Не знаю.

Она села на влажную скамейку. Я присел рядом. Обтерев капли дождя на лице, она сказала:

– Эти растения немного напоминают мне себя! А еще мне вспоминаются мои предки, жившие много веков назад среди этих странных деревьев и цветов. Разве мы, как и эти растения, не оторваны от своих корней и не рассеяны по земле? Но вам это не интересно... Честно говоря, и меня все это не особо интересует. Это лишь повод думать о многом и много переживать. Увидите, я живу у себя в голове, в своем мире гораздо больше, чем в мире окружающем. Реальная жизнь для меня – просто скучный сон. Вам, наверное, моя работа в «Атлантике» показалась достойной сожаления. А я даже не замечаю, какая она. Хотя иногда она меня даже веселит. Вообще-то я работаю ради матери. Мне нужно помогать ей, а на несколько картин, которые я рисую за год, прожить нет возможности... Вы когда-нибудь занимались живописью?

– Чуть-чуть!

– И почему не стали продолжать?

– Понял, что у меня нет способностей.

– Не может быть... Степень вашего таланта была видна по тому, как вы разглядывали на выставке картины. Лучше говорите: «Понял, что мне не хватит смелости!» Плохо мужчине быть таким боязливым. Это я ради вас же говорю. Сама-то я смелая. Хочу рисовать и показывать на своих картинах то, что думаю о людях. Возможно, немного удастся. Но это тоже – пустяки... Люди, которых я презираю, и так ничего не поймут, а те, кто может что-то понять, презрения не достойны. Так что живопись, как, впрочем, и все искусства, никому не адресована, то есть попросту бессильна обратиться к тем, кто, главным образом, и является ее объектом. Тем не менее живопись – единственное дело в мире, которое я принимаю всерьез. И именно потому я не хочу зарабатывать ею на жизнь. Ведь иначе мне придется

делать не то, что хочется, а то, что закажут. Никогда. Никогда. Уж лучше я буду торговать собственным телом. По-моему, тело важности совершенно не имеет...

Она бесцеремонно хлопнула меня по колену.

– Так что вот, дорогой мой друг. То, чем я занимаюсь, – не что иное, как торговля... Вы же были там, когда какой-то пьяный поцеловал меня в спину? Конечно, он поцелует... Его право. Он же платит деньги. Да и, говорят, у меня спина красивая... Хотите поцеловать? А деньги у вас есть?

Я онемел. Лишь часто моргал и кусал губы. Мария, увидев это, нахмурилась, побледнела сильнее, лицо ее стало как известь.

– Нет, Раиф, жалости я не хочу. Ни в коем случае... Жалость, сострадание – этого я не выношу больше всего. Если я почувствую, что вы меня жалеете – до свидания! Вы никогда меня больше не увидите.

Увидев, что я окончательно растерялся и жалеть, в сущности, надо меня, она положила мне руку на плечо:

– Не сердитесь на меня! Мы не должны стесняться откровенно говорить обо всем, что в дальнейшем может испортить нашу дружбу. В подобных вопросах боязливость вредна... Что может случиться? Если мы не будем понимать друг друга, то расстанемся. Ну а это разве большое несчастье? Вы согласны с тем, что жизнь строится из времени, проведенного в одиночестве? Все сближения, все соединения людей – обман. Люди могут сближаться только до определенного предела, они подстраиваются друг под друга лишь поверхностно, но в один прекрасный день сознают свою ошибку и, в отчаянии бросив все, сбегают. Между тем если бы люди довольствовались возможным и если бы перестали считать то, что случается в мечтах, реальностью, такого бы не происходило. Каждый принимал бы все как есть, и не было бы ни разбитых надежд, ни огорчений и обид. В нашем положении мы все достойны жалости; но мы должны жалеть себя сами. Жалеть другого означает полагать, что мы сильнее его, а у нас нет права ни считать себя великими, ни других – несчастнее себя. Пойдемте уже, а?

Мы встали, стряхивая капли дождя с наших пальто. Влажный песок скрипел под ногами.

На улицах уже темнело, но фонари еще не горели. Мы возвращались так же быстро и тем же путем, каким пришли. На этот раз я взял ее под руку. Я прижимался к ней как ребенок, склонил к ней голову. Я испытывал странное чувство – нечто среднее между радостью и грустью. По мере того как я видел, до какой степени многие ее чувства и мысли похожи на мои, я радовался, все сильнее чувствуя нашу близость; но в то же время боялся, потому что понимал, что мы не сходимся по одному вопросу: она никогда не желала скрывать от себя правду, не желала обманываться любой ценой. Смутное чувство шептало мне, что если она когда-нибудь познает полностью другого человека и не будет скрывать увиденное от себя, все равно никогда не сможет сблизиться с ним до конца.

Между тем сам я не желал быть любителем истины. Я понимал, что не смогу вынести, чтобы какая-нибудь правда разделила нас. Разве после того, как мы нашли друг в друге самое полезное и ценное для наших душ, не было бы человечнее и справедливее делать вид, что мы не замечаем мелких деталей, точнее, не было бы справедливее жертвовать маленькими истинами ради истины большой?

Естественно, что благодаря печальному опыту и разрушительному воздействию окружения эта женщина при любых обстоятельствах мыслила реалистично. Она была недовольна жизнью и никому не верила, оттого что была вынуждена жить среди неприятных, несимпатичных ей людей, через силу этим людям улыбаться. Я же ни на кого не таил обид, поскольку всю жизнь держался далеко от людей и никогда не испытывал от них особого беспокойства. Меня угнетало лишь страшное одиночество, но, оказавшись перед человеком, который, как я убедился, был мне близок, под воздействием этого одиночества я был готов обманывать себя во многом.

Мы дошли до центра. На улицах было светло и многолюдно. Мария выглядела задумчивой и казалась немного грустной. Я осторожно спросил:

– Вас что-то расстроило?

– Нет! – ответила она. – Мне не из-за чего расстраиваться. Я довольна нашей сегодняшней прогулкой. Да, пожалуй, довольна...

Было видно, что она думает о чем-то своем. Она иногда поглядывала на меня, но в ее взгляде сквозила рассеянность, а в

улыбке – отчужденность, что меня пугало. В какой-то момент она остановилась и сказала:

– Не хочу домой! Давайте поужинаем где-нибудь вместе. Будем беседовать, пока мне не пора будет идти на работу.

Это неожиданное предложение я встретил с неуместным волнением. Однако, увидев, что подобное мое состояние сделало ее еще более отчужденной, я быстро взял себя в руки. Мы вошли в какой-то большой ресторан в западной части города. Посетителей было не много. В углу громко играл баварский женский оркестр, музыкантши были одеты в национальные костюмы. Мы сели за столик в стороне и заказали ужин и вино.

Задумчивость моей спутницы передалась и мне. Я испытывал беспричинную неловкость и смущение. Женщина, заметив это, попыталась отвлечься от раздумий, повеселеть и улыбнуться. Она шлепнула меня по лежавшей на столе руке:

– Что это вы насупились? Юноши, которые впервые ужинают с девушкой, обычно веселее и разговорчивее! – пошутила она. Но было видно, что она сама не верит в то, что говорит, и вскоре она вернулась к прежнему своему состоянию. Пытаясь чем-нибудь отвлечься, она разглядывала столики по сторонам. Внезапно она повернулась ко мне и, отпив несколько глотков вина, посмотрела мне в глаза:

– Что мне делать? Что мне делать? Я не могу быть другой!

Я лишь смутно чувствовал, что она хочет сказать. Я не мог ясно определить суть этого, но подспудно понимал, что расстроен из-за того, что, как она сказала, было невозможным для нее.

Казалось, ее взгляду хочется задержаться везде, куда бы она ни посмотрела, и она как будто с трудом переводила его. Время от времени неясная мрачность омрачала бледное, как перламутр, лицо. Она снова заговорила. В ее голосе внезапно послышалась дрожь, с трудом сдерживаемое волнение.

– Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, – говорила она. – Будет лучше, если я буду с вами абсолютно откровенна, чтобы вы не предавались пустым надеждам... Не обижайтесь на меня... Я вчера подошла к вам... Попросила вас проводить меня до дома... Сегодня предложила погулять... Предложила поужинать... Я даже, кажется, успела вам надоесть... Но я вас не люблю... Я сегодня все время об этом думаю. Нет, я и вас не люблю. Что же делать? Я нахожу вас

приятным. Возможно, даже привлекательным. Даже, может быть, вижу, как вы отличаетесь от других мужчин, которых я знала до сих пор. Но и только... Разговаривать с вами, беседовать с вами, спорить, ссориться... Обижаться, снова мириться – все это непременно будет мне приятно... Но любить? Я не могу этого... Сейчас вам, должно быть, интересно, почему я об этом заговорила так внезапно... Как я уже сказала, для того, чтобы потом вы на меня не обижались, ожидая чего-то другого. Я скажу вам, что могу вам дать, чтобы вы потом не утверждали, что я с вами играла. Как бы вы ни отличались от других, вы все-таки мужчина... А все мужчины, которых я знала, поняв, что я их не люблю, не могу любить, покидали меня в большом разочаровании и даже в гневе. До свидания... Почему они считали меня виноватой? Потому, что я не дала им того, что было только в их фантазиях, но чего я никогда не обещала? Это несправедливо, правда? Я не хочу, чтобы вы думали обо мне так же. Можете считать это еще одним баллом в вашу пользу.

Я изумился. Однако, стараясь не подать виду, произнес:

– Зачем вы все это говорите? Какой будет наша дружба, зависит не от меня, а от вас. Как вы хотите – так и будет!

Она резко возразила:

– Нет-нет! Так не годится. Смотрите. Вы, как все мужчины, делаете вид, что со всем согласны, но на самом деле стараетесь, чтобы с вами согласились во всем. Нет, мой друг! Успокаивающими словами дела не решишь. Подумайте: я всегда старалась судить об отношениях откровенно и нелицемерно, касалось ли то меня, либо кого-то другого, но так и не пришла ни к какому выводу. Отношения людей, в особенности мужчин и женщин, настолько сложны, а наши желания и чувства настолько туманны и неясны, что в отношениях никто не сознает своих поступков, все плывут по течению. Я такого не хочу. Делать то, что меня никак не устраивает, что не кажется мне необходимым, унижает меня в собственных глазах. Особенно не могу смириться с тем, что женщина всегда должна быть пассивной перед мужчиной... Почему? Почему мы всегда убегаем, а вы – преследуете? Почему мы всегда сдаемся, а вы всегда завоевываете? Почему даже в ваших мольбах всегда присутствует принуждение, а в наших отказах – беспомощность? С самого детства это возмущало меня, я никогда не могла с этим смириться. Почему я такая? Почему мне кажется важным

то, чего другие женщины даже не замечают? Я очень много размышляла об этом. Может быть, я – ненормальная, думала я. А может, наоборот? Может, я думаю об этом потому, что я нормальнее других женщин? Дело в том, что моя жизнь, по чистой случайности, была далека от тех явлений жизни, которые заставляют других женщин воспринимать свою участь как нечто естественное. Отец умер, когда я была маленькой. Мы с мамой остались вдвоем. Моя мать – олицетворение женщин, привыкших подчиняться и повиноваться. Она давно утратила привычку идти по жизни самостоятельно. Точнее, у нее такой привычки никогда и не было. Мне было только семь лет, но я начала ею управлять. Я советовала ей быть твердой, учила ее уму-разуму, стала ей опорой. Так я и выросла без власти мужчины, то есть естественным образом. В школе у меня всегда вызывали отвращение лень и вялость подруг, их надежды и цели. Я не научилась ничему, чтобы нравиться мужчинам. Я никогда не краснела перед ними и не ждала от них благосклонности. Это обрекло меня на ужасное одиночество. Подруги считали, что разделять мои взгляды вредно, и ради собственного спокойствия предпочитали держаться от меня подальше. Им было легче и больше нравилось быть игрушкой, с которой бережно обращаются, нежели быть человеком. С мужчинами я тоже не дружила. Они предпочитали убегать, не найдя во мне желанного лакомого кусочка, нежели разговаривать на равных. В то время я узнала, что такое мужская решимость и сила. Ни одно живое существо на свете так не стремится к легким успехам и так не страдает эгоизмом, самовлюбленностью и одновременно трусостью, постоянно думая о собственном покое. С тех пор как я это заметила, любовь к мужчинам в самом деле стала для меня невозможной. Я видела, что даже те, кто был мне симпатичен и во многом близок мне, демонстрировали волчью суть в каких-то мелочах. После близости, которая доставляла наслаждение в равной степени нам обоим, в их взглядах появлялось глупое извиняющееся выражение, они начинали вести себя так, будто должны меня от чего-то защищать, но в то же время появлялась и снисходительность победителя. Между тем именно им надо сочувствовать – ведь именно их ничтожность в близости видна прекрасно. Ни одна женщина в страсти не выглядит так беспомощно и забавно. Несмотря на это, они полны неумемной гордости. Они горды собой до такой степени, что считают это

проявлением силы. Господи, люди сходят с ума... У меня нет неестественных наклонностей, но я бы предпочла влюбиться в женщину.

Она замолчала и принялась изучать мое лицо. Сделала несколько глотков вина. Затем заговорила опять, и по мере того, как говорила, веселела, будто избавляясь от грусти.

– Почему вы удивились? – спросила она. – Не бойтесь, я не то, что вы подумали. Но лучше уж мне быть такой. Тогда я бы непременно делала что-то, гораздо меньше унижающее человеческое достоинство. Только ведь я – художница, знаете ли... У меня свое восприятие красоты. Я не считаю, что заниматься любовью с женщиной – красиво... Как сказать... Это не эстетично. И потом, я очень люблю природу. Неестественное всегда меня смущает. Поэтому я верю, что мне обязательно нужно любить мужчину... Но только настоящего мужчину... Мужчину, который сможет увлечь меня, не прибегая ни к какой силе. Мужчину, который будет меня любить и который будет рядом, не требуя ничего, который не будет командовать мной, который не будет унижать меня... То есть действительно сильного, настоящего мужчину... Теперь вы понимаете, почему вас я не люблю? Правда, и времени еще мало прошло, чтобы полюбить вас, но вы все же не тот, кого я ищу. У вас, конечно, нет той бессмысленной надменности, о которой я говорила раньше. Но вы – как ребенок, точнее, как женщина... Вы – как моя мать: вам нужно, чтобы вами кто-то управлял. Это могу быть я. Если хотите. Но многого от меня не ждите. Мы с вами замечательно подружимся... Вы – первый мужчина, который слушает меня, не перебивая, который не пытается меня переубедить, не пытается наставить на путь истинный. По вашим глазам видно, что вы меня понимаете... Я уже сказала, мы можем быть очень хорошими друзьями. Вы тоже можете рассказать мне о себе откровенно – так же, как я вам. Разве одного этого мало? Не хуже ли будет потерять и это, желая большего? Я этого совершенно не хочу. Я говорила вчера вечером, что иногда бываю сумасбродной... Но это не должно давать вам повод к ошибочным мыслям. В главном я никогда не изменюсь. Ну как? Будете моим другом?

Ее слова ошеломили меня. Я боялся делать какие-либо выводы, чувствуя, что они, скорее всего, будут неверными. Мне хотелось только одного: быть рядом с ней, не расставаться с ней – любой ценой...

Остальное мне было не важно. Я не привык просить у человека больше, чем он может дать. Несмотря на сказанное, я испытывал странное внутреннее спокойствие. Глядя в ее черные задумчивые глаза, которые словно ждали моего ответа, я медленно произнес:

– Мария, я очень хорошо вас понимаю. Вижу, что сказать мне все это вас побудил ваш жизненный опыт, и рад, так как полагаю, что вы сказали все это для того лишь, чтобы помешать всему, что может в дальнейшем испортить нашу дружбу. Значит, вы цените ее.

Она кивнула. Я продолжал:

– Может, вам даже не стоило мне все это говорить. Но откуда вам было знать? Мы ведь недавно знакомы. Лучше быть осторожной... А вот у меня нет такого опыта, как у вас. Я мало с кем бывал знаком и всегда был одинок. Вижу, что, хоть пути наши и были разными, оба мы пришли к одному финалу: мы ищем одного человека, своего человека... Замечательно будет, если мы найдем его друг в друге. Это – главное, а остальное – неважно. Что касается отношений мужчины и женщины, то можете быть уверены, что я никогда не принадлежал к людям того типа, которого вы боитесь. Правда, у меня в жизни не было никаких приключений, но мне никогда даже в голову не приходило, что я смогу полюбить человека, которого не буду считать таким же сильным, как себя, и которого не буду уважать так же, как себя. Вы только что говорили о том, что вас унижают. Если мужчина может позволить себе такое, то, мне кажется, он забывает о своем достоинстве и в действительности унижает себя. Я, как и вы, очень люблю природу, даже могу сказать, насколько я отдалялся от людей, настолько я сближался с природой. Моя родина – одна из самых красивых стран на земле. Там были основаны и пережили падение многие цивилизации, известные нам из истории. Когда я лежал под оливками, которым десять-пятнадцать столетий, я думал о людях, которые когда-то собирали их плоды. Я гулял в горах, поросших соснами. Там, где, как считалось, не ступала нога человека, я видел мраморные мосты, резные колонны. Они – друзья моего детства, спутники моих грез. С детства природа с ее законами для меня превыше всего. Давайте оставим споры, пусть наша дружба тоже развивается естественным путем. Не стоит пытаться насильно менять ее направление и связывать ее преждевременными решениями!

Мария стукнула меня по руке указательным пальцем:

– А вы не такой ребенок, каким кажетесь!

Ее глаза растерянно смотрели на меня. Она выпятила свою полную нижнюю губу и стала похожа на маленькую девочку, которая вот-вот заплачет. Взгляд ее был задумчив; казалось, она пыталась в чем-то разобраться. Меня поразило, как быстро и часто меняется ее лицо.

– Вы можете рассказывать мне о вашей жизни, о вашей стране, об оливках! – заговорила она. – А я буду рассказывать вам о своем детстве и об отце – то, что смогу вспомнить. Думаю, нам будет не трудно найти темы для разговоров. Однако здесь делается шумно! Наверное, оттого, что зал пустой... Бедняжки-оркестрантки, наверное, грохотом инструментов хотят во что бы то ни стало развеселить хозяина. Ах, если бы вы знали, что за хозяева у подобных мест!

– Невероятно грубы?

– Еще как! Прекрасная возможность узнать мужчин лучше. Например: хозяин нашего «Атлантика» – человек любезный. Любезен не только с клиентами, но и с каждой дамой, не связанной с ним деловыми отношениями... Если бы я не работала в его кабаре, он бы вел себя со мной учтиво и восхищал бы меня своим благородством. Но по отношению к людям, которым он платит деньги, он меняется и, кажется, называет это «профессиональной этикой». Назвал бы «барышная этика», было бы вернее. На самом деле его грубость, которая доходит иногда до неприличия и жестокости, – не от желания блюсти уровень заведения, а от страха быть обманутым. Видели бы вы, как этот человек, который, вероятно, и семьянин хороший, и гражданин честный, требует, чтобы мы продавали не только свой голос, улыбки и тело, но и свою человеческую сущность, – вы бы вздрогнули...

Я перебил ее – мне вспомнилось что-то почти забытое:

– Кем был ваш отец?

– Разве я не говорила? Адвокатом. А почему вы спросили? Стало интересно, как я дошла до такой жизни?

Я молчал.

– Очевидно, вы еще не очень хорошо знаете Германию. В моем положении нет ничего необычного. Отец оставил небольшое наследство, которое позволило мне учиться. Жили мы тогда, в общем-то, неплохо. Во время войны я была медсестрой. Затем продолжила

учиться. Но из-за инфляции почти все сбережения мы потеряли. Пришлось начать зарабатывать деньги. Но я не жалею. Работать очень даже приятно. Единственное, что меня огорчает, – что мое желание работать не унижаясь, никому не нравится... Еще мне неприятно постоянно находиться рядом с пьяными или теми, кого обуревают вожделения. Иногда я ловлю на себе такие взгляды, что... Не могу назвать их даже просто животными. Будь они такими, они бы были естественными. Это – низменнее животных инстинктов. Это животная дикость, замешанная на человеческом лицемерии, хитрости, ничтожестве... Отвратительно.

Она посмотрела по сторонам. Оркестр громыхал вовсю. Толстуха в баварском костюме с волосами кукурузного цвета горланила заводные тирольские напевы и, издавая забавные гортанные звуки, кружилась на месте.

Мария сказала:

– Пойдемте куда-нибудь в тихое место. У нас еще много времени.

Затем, внимательно заглянув мне в глаза, добавила:

– Может быть, вам со мной скучно? Я постоянно болтаю и с утра таскаю вас за собой. Женщине нехорошо быть такой назойливой... Серьезно говорю, если вам скучно, давайте я вас отпущу!

Я взял ее за руки и долго не мог ничего произнести.

Ей в лицо я тоже не смотрел. Однако заговорил я только после того, как убедился, что она поняла, что во мне происходило:

– Я благодарен вам!

– А я – вам! – сказала она и высвободила руки.

Мы вышли на улицу, и она предложила:

– Пойдемте в одно кафе неподалеку отсюда! Очень приятное местечко. Увидите необычных людей.

– В «Романское кафе»? [\[20\]](#)

– Да, вы знаете его? Вы ходили туда?

– Нет, я много о нем слышал!

Она улыбнулась:

– От приятелей, которые к концу месяца остаются без денег?

Я тоже улыбнулся, отвел глаза и стал смотреть вперед.

Я много слышал об этом кафе, которое любили художники и другие люди искусства. Говорили, будто по вечерам, ближе к полуночи, туда сходились пожилые сластолюбцы, охочие до девушек и

юношей, и состоятельные дамы, а жиголо всех национальностей и возрастов каждый вечер предлагали себя там.

Но было еще рано, и в кафе сидели только художники. Они сидели компаниями, и каждая компания громко о чем-то спорила. Мы поднялись по лестнице между колонн на второй этаж и с трудом отыскивали свободный столик.

Нас окружали молодые длинноволосые художники в черных шляпах на французский манер, дымившие трубками газетчики с неостриженными ногтями.

Высокий молодой блондин с бакенбардами, помахав издалека, подошел к нам.

– Приветствую Мадонну в меховом манто! – сказал он, обняв Марию и целуя ее – сначала в лоб, а затем в щеки.

Я опустил глаза. Они поговорили о том о сем. Из их разговора стало ясно, что его картины были на той же выставке. Наконец блондин с силой пожал руку Марии и, бросив мне: «До свидания, юноша!», удалился, как, видимо, было принято среди людей искусства.

Я все еще смотрел перед собой. Мария спросила:

– О чем ты думаешь?

– Вы сказали мне «ты», заметили?

– Да... Вам не нравится?

– Почему? Наоборот, благодарю вас!

– Ох, как вы часто благодарите!

– Мы, жители Востока, – обходительные люди. Знаете, о чем я думал? Тот человек поцеловал вас, а я совсем не ревновал.

– В самом деле?

– И мне стало интересно – почему я не ревновал?

Мы долго смотрели друг на друга, и в наших взглядах светился искренний интерес и доверие.

– Расскажите немного о себе! – попросила она.

Я кивнул. Еще днем я думал, как много я ей расскажу. Но сейчас не мог ничего вспомнить, и в голову приходили совершенно новые мысли. Я начал говорить что попало. Я не рассказывал о чем-то определенном, а только говорил о детстве, о службе в армии, о прочитанных книгах, о мечтах, о нашей соседке Фахрие, о командирах партизанских отрядов, которых видел. Качества, в которых я до сих пор стеснялся признаться сам себе, не спрашивая моего позволения,

сами собой рвались в моей речи на свободу. Я впервые рассказывал о себе другому человеку и хотел выглядеть таким, как есть, ничего не приукрашивая. Я прилагал столько усилий, чтобы не лгать ей, не искажать свою сущность, ничего не менять, что даже в этом своем усилии, возможно, иной раз заходил далеко, так выставляя напоказ некоторые отрицательные черты моего внутреннего мира, что тем самым опять отступал от истины.

Воспоминания и чувства, которые я сдерживал всю жизнь, волнения и восторги, вынужденные долгое время таиться в молчании, словно стремительный поток, увеличивая скорость, постепенно набирая силу и вздуваясь, лились наружу. Видя, как внимательно она меня слушает, как разглядывает мое лицо, словно пытаюсь увидеть во мне что-то, что я не смог облечь в слова, я говорил все свободнее. Иногда она медленно качала головой, словно подтверждала что-то, а иногда слегка приоткрывала рот, будто ее что-то сильно удивило. Когда я особенно волновался, она медленно гладила мою руку, а когда то, о чем я говорил, звучало жалобно, сочувственно улыбалась.

В какой-то момент я замолчал, словно ощутив толчок какой-то неведомой силы, и взглянул на часы. Было около одиннадцати. Столики вокруг опустели. Вскочив, я воскликнул:

– Вы же опоздаете на работу!

Она попыталась собраться с мыслями и, сильно сжав мои руки, неторопливо поднялась:

– Вы правы!

А надевая беретик, добавила:

– Как хорошо мы поговорили!

Я проводил ее до «Атлантика». По дороге мы почти все время молчали. Казалось, мы оба хотели, чтобы впечатления этого вечера как следует запечатлелись в нас. К концу пути я почувствовал, что дрожу от холода. Я сказал:

– Из-за меня вы не смогли сходить домой и надеть шубу. Вы замерзнете!

– Из-за вас? Верно... Из-за вас. Но я сама виновата. Впрочем, не важно. Пойдемте быстрее!

– Мне подождать, чтобы проводить вас домой?

– Нет, нет... Ни за что. Встретимся завтра!

– Как хотите!

В ответ она взяла меня под руку и прижалась ко мне, возможно, чтобы согреться. Когда мы подошли к входу в «Атлантик», залитому светом электрических огней, она остановилась и, высвободив руку, с задумчивым видом протянула ее мне. Казалось, она думала о чем-то необыкновенно серьезном. Затем подвела меня к стене, приблизилась к моему лицу и тихим голосом, почти шепотом, быстро проговорила:

– Так, значит, вы меня не ревнуете, да? Ты и в самом деле так сильно меня любишь?

Я почувствовал, что у меня пересохло в горле и что-то сжалось в груди, потому что я не мог найти слов, чтобы сказать ей, что я чувствовал в тот миг. Я боялся, что каждое слово, каждый звук, который вырвется из моих уст, смутит, испортит мое счастье. Она все еще смотрела мне в глаза, на этот раз с легкой тревогой. Я почувствовал, что от беспомощности на глаза навернулись слезы. Тогда она успокоилась, и лицо ее смягчилось. На миг она закрыла глаза, словно устала. Затем, взяв меня за голову, поцеловала меня в губы и, молча развернувшись, медленно скрылась за дверьми.

Я почти бегом вернулся в пансион. Думать о чем-либо и вспоминать не хотелось. События того вечера были настолько ценны, что их страшно было касаться даже памятью. Подобно тому, как некоторое время назад я опасался, что любой звук, который раздастся из моих уст, испортит невообразимую минуту счастья, так и на этот раз я боялся каждым воспоминанием навредить памяти о восхитительных событиях нескольких часов, только что пережитых мною, и нарушить их бесподобную гармонию.

Пансион с темной лестницей казался мне теперь уютным, запахи, наполнявшие коридоры, – приятными.

С того дня мы с Марией Пудер начали встречаться и гулять каждый день. Сказанное в первый вечер не исчерпало всего, что мы хотели рассказать друг другу. События и люди, которых мы встречали, всегда давали нам возможность делиться мыслями и замечать, насколько наши мысли близки. Наше единодушие было следствием того, что мыслили мы оба одинаково. Конечно, в наших разговорах один из собеседников часто бывал готов заранее согласиться с мыслями другого и полностью принять их. Однако разве стремление принимать каждое суждение собеседника как собственное не является проявлением близости душ?

Чаще всего мы ходили в музеи и на художественные выставки. Она рассказывала мне о картинах новых и старых мастеров, и мы спорили об их ценности. Еще мы несколько раз ходили в ботанический сад, а пару вечеров провели в опере. Но от походов в оперу пришлось отказаться, поскольку ей трудно было уходить со спектакля в десять или в пол-одиннадцатого и идти на работу. Однажды она сказала:

– Я не хочу ходить в оперу не столько из-за времени, сколько потому, что идти потом в «Атлантик» петь песни кажется мне самым нелепым и пошлым занятием в мире.

На фабрике я теперь оставался только до обеда и почти перестал общаться с обитателями пансиона. Фрау Хеппнер иногда принималась допытываться: «Кому, интересно, мы позволили вас похитить у нас?», но я лишь молча улыбался. Больше всего мне не хотелось, чтобы фрау ван Тидеманн что-нибудь услышала. Возможно, Мария не усмотрела бы в том никакой проблемы, но я, наверное по восточной привычке, считал, что необходимо поступать именно так.

Между тем скрываться от людей было незачем. С первого вечера наша дружба пребывала в рамках условленных нами границ, а прощальную сцену перед «Атлантикой» в первый вечер никто из нас не вспоминал. В первое время нас сближало взаимное любопытство. «Чего я еще не знаю о моем друге?» – думали мы оба и разговаривали все больше. Вскоре любопытство сменилось привычкой. Если мы по каким-либо причинам не встречались несколько дней, то увидеться хотелось особенно сильно. Когда же мы встречались, то радовались, как двое приятелей не разлей вода, и шли, держась за руки. Я очень ее любил. Я чувствовал в себе столько любви, что ее хватило бы, чтобы любить весь мир, и я был счастлив, что эту любовь было на кого обратить. Было совершенно ясно, что я ей нравлюсь, что она ищет встреч со мной. Но она никогда не давала повода перевести нашу дружбу в другое русло. Однажды мы гуляли в пригороде Берлина под названием Грюнвальд, она шла, опираясь на меня и обнимая за шею. Ее рука, свешивавшаяся с моего плеча, слегка покачивалась, а большой палец чертил в воздухе круги. Внезапно мне захотелось схватить ее руку и поцеловать в ладонь, – не знаю, откуда это взялось, – и я поцеловал. Но она тут же высвободила руку мягким, но решительным движением. При этом мы не сказали друг другу ни слова и продолжали прогулку как ни в чем ни бывало. Но ее движение в тот момент было

таким решительным, что ощущалось ее стремление и в дальнейшем мешать мне поддаваться подобным чувствам. Иногда мы, бывало, говорили о любви. Я испытывал странное смущение, слыша, как она спокойно исследует любовь, словно бы сей предмет далек от нее. Да, я со всем был согласен, принимал все ее условия. Но, несмотря на это, иногда я искусно переводил речь на нас и пытался анализировать нашу дружбу. С моей точки зрения, независимого, абстрактного понятия «любовь» не существовало. Любовью для меня были различные оттенки влюбленности, привязанности и симпатии, проявляющиеся между людьми, а их названия и формы менялись в зависимости от обстоятельств. И не называть любовь мужчины и женщины ее настоящим именем было самым обычным самообманом.

Мария, помахав указательным пальцем, улыбнулась.

– Нет, мой друг, нет! – сказала она. – Любовь – не простая симпатия, о которой вы говорите, и не какая-либо более глубокая привязанность. Это совершенно особое чувство, такое, что мы и представить себе не можем; и, подобно тому, как мы не знаем, откуда она берется, мы также не знаем, куда она в один прекрасный день исчезает. Между тем как дружба продолжительна и основана на взаимопонимании. Видно, как она началась, и если дружба испортится, можно разобраться в причинах. А любовь никакому анализу не поддается. Подумайте еще вот о чем: у каждого из нас есть множество знакомых, которые нам симпатичны. Например, у меня много друзей, которых я горячо люблю. (Прежде всего, конечно, вас, уважаемый.) Ну так что, я влюблена во всех них?

Я упорно стоял на своем:

– Да! Вы влюблены в того, кого любите сильнее всего, а в других – чуть-чуть!

Мария ответила неожиданно:

– Тогда почему вы говорили, что не ревнуете меня?

Не находя, что сказать, я какое-то время соображал, я затем принялся объяснять:

– Человек, который способен любить, никогда не будет ограничивать любовь одним человеком и ни от кого не будет ждать того же. Насколько мы способны любить людей, настолько же мы способны любить и единственного человека. Любовь не становится слабее, когда достается многим.

– Я полагала, что на Востоке думают иначе!

– Не уверен!

Мария долго смотрела в одну точку, а затем произнесла:

– Любовь, которую жду я, иная! Она вне логики, ее невозможно описать, невозможно представить. Любить и симпатизировать – это одно, а желать всей душой, всем телом, каждой клеточкой тела, всем своим существом – совсем другое... Мне кажется, любовь и есть такое желание. Желание, которому невозможно противостоять.

Тогда я ответил – с уверенностью, будто поймал ее на слове:

– Все, о чем вы говорите, – вопрос мгновения. Нежность и интерес, сокрытый в нас, по неясной причине, в момент, который невозможно предугадать, внезапно сливаются в одно целое, концентрируются и, подобно тому, как нежный солнечный луч, проходя сквозь линзу, фокусируется в одной точке и начинает жечь, нас охватывает страсть, и любовь усиливается. Неверно считать, что любовь появляется снаружи. Она состоит из чувств, которые были заложены в нас, но которые усиливаются так, что остается удивляться.

На этом мы прекратили наш спор, но позже вновь к нему возвращались. Я чувствовал, что ни мои собственные слова, ни ее мысли не были абсолютно точными. Было ясно, что нами обоими, как бы мы ни стремились к откровенности, управляли скрытые мысли и желания. Во многих вопросах мы, конечно, сходились во мнениях, но бывали и моменты, по которым у нас имелись расхождения, и если одна сторона с легкостью подстраивалась под другую, то лишь ради иной, главной цели. Мы не стеснялись показывать друг другу самые тайные уголки наших душ и говорить об этом; однако бывали и вопросы, которых мы никогда не касались, потому что толком не понимали, в чем их суть; правда, некое чувство шептало мне, что именно они и есть самое важное.

Поскольку у меня прежде никогда не было такого близкого человека, мне важнее всего было сохранить дружбу с ней. Возможно, конечная цель всех моих желаний и заключалась в том, чтобы владеть ею целиком и полностью, всей ее духовной и физической сущностью, но, боясь потерять то, что имел, я стеснялся признаться себе в этом и оставался в бездействии, подобно человеку, который любит редкую птицу, но боится шевельнуться, чтобы не спугнуть ее.

Я смутно чувствовал, что мое бездействие, мои сомнения, основанные на страхе, вредят нашей дружбе гораздо больше; что невозможно оставаться на одном месте ни в чем, что касается людских отношений; что каждый шаг, сделанный не вперед, делается назад; что моменты, которые не сближают людей, непременно отдаляют их друг от друга. Смутная тревога тлела во мне, разгораясь день ото дня.

Однако для того, чтобы поступать по-другому, надо было быть другим человеком. Было очевидно, что я все время хожу вокруг да около главного, но я не знал, как к этому главному подойти. От прошлого смущения не осталось и тени. Я не замыкался в себе и даже, может быть, чрезмерно открывался перед ней; но все время соблюдалось одно условие: не затрагивать главного.

Не знаю, мыслил ли я тогда обо всем так ясно, как теперь. Сейчас, когда прошло более двенадцати лет, я вспоминаю свое тогдашнее состояние и тогдашние мысли, мои суждения о Марии упорядочены расстоянием и временем, разделившим нас.

Я понимал, что и Марией владели тогда противоречивые чувства. Иногда она делалась чересчур сдержанной, даже холодной, а иногда так оживлялась, проявляла ко мне такой интерес, даже откровенно провоцировала меня, что я обретал смелость, о которой уже и не помышлял. Но такие мгновения были редки, а на смену им приходило всегдашнее дружеское расположение. Было очевидно, что Мария, как и я, заметила, что дружба наша, не развиваясь, зашла в тупик. Несмотря на то что она не находила того главного, что искала во мне, многие мои качества, видимо, казались ей ценными, и она явно уже не хотела терять меня. Поэтому Мария тоже стеснялась делать что-либо, что, по ее мнению, могло бы отдалить нас друг от друга.

Все эти сложные чувства пребывали в самых потаенных уголках наших душ, словно бы боясь выйти на свет; в действительности же мы были закадычными друзьями, которые, как и прежде, искали встреч друг с другом, радуясь каждой минуте, проведенной вместе.

Внезапно все изменилось и приняло совершенно неожиданный поворот. Это случилось в конце декабря. Мать Марии уехала встречать Новый год к дальней родственнице, проживавшей в окрестностях Праги. Мария была несказанно довольна.

– Больше всего на свете меня раздражает елка, украшенная свечами и мишурой, – говорила она. – Не думай, что это потому, что я

еврейка. Подобные обряды кажутся мне бессмысленным вздором. Люди исполняют их, потому что стремятся хоть миг побыть счастливыми. Поэтому мне не нравится и иудаизм, в котором немало странных и бесполезных предписаний. Моя мать, протестантка, стопроцентная немка, следует этим обычаям, но я уверена, что только от нечего делать и от старости. Она, конечно, считает, что я богохульствую, но, думаю, не потому, что держится за свои убеждения, а потому, что боится утратить душевный покой.

– По-твоему, Новый год неважен?

– Нет. Разве он чем-то отличается от других дней? Разве природа его как-то выделила? Не так уж важно показывать, что прошел еще один год жизни; ведь делить жизнь на годы – тоже изобретение человека... Жизнь состоит из единственного пути – от рождения до смерти, и разделение ее на какие-либо другие части искусственно. Однако давай оставим рассуждения в стороне и, если тебе хочется, сходим в новогоднюю ночь куда-нибудь вместе. Мое выступление в «Атлантике» пройдет до полуночи, потому что в новогоднюю ночь будет много других номеров. Сходим куда-нибудь вместе, выпьем, как все... Что скажешь? К тому же мы с тобой ни разу не танцевали, верно?

– Не танцевали!

– Я, правда, не очень люблю танцевать, иногда человек начинает мне нравиться во время танца, и мне делается неловко.

– Не думаю, что я тебе понравлюсь в танце!

– Я тоже не думаю... Ну да ладно, дружба требует жертв!

В новогодний вечер мы поужинали вместе и проболтали в ресторане до того времени, как ей надо было идти на работу. Когда мы пришли в «Атлантик», она отправилась в примерную переодеваться, а я расположился за тем самым столиком, за которым сидел в первый вечер. Зал был разукрашен бумажными лентами, цветными фонариками и дождем из серебристой фольги. Публика, кажется, уже была навеселе. Почти все танцевавшие пары целовались. Мне почему-то стало тоскливо. «И что дальше? – думал я. – В самом деле – чем так примечательна эта ночь? Мы сами ее придумали и сами в нее верим. Если бы все пошли домой и легли спать, было бы гораздо лучше. А что мы будем делать? Как и все: разойдемся по домам под ручку... Не

совсем как все: мы не будем целоваться... Интересно, танцевать я смогу?»

В стамбульской Академии художеств приятели показывали мне несколько танцев, которым они научились у русских белогвардейцев, заполонивших тогда город. Я даже немного умел танцевать вальс... Но смогу ли я сегодня вечером проявить мастерство, в котором не упражнялся несколько лет? «Если что, прекращу танец и сяду!» – решил я.

Игра и пение Марии закончились быстрее, чем я предполагал, и тут же были всеми забыты в общем шуме. Тем вечером каждый предпочитал выступить сам. Мария переоделась, и мы сразу же направились в большой ресторан «Европа», расположенный напротив Анхальтского вокзала. Он совершенно не был похож на маленький уютный «Атлантик». В больших залах – насколько хватало глаз – танцевали сотни пар. Столы были заставлены цветными бутылками. Некоторые из посетителей уже спали, уронив голову на стол, другие сидели в обнимку.

Мария тем вечером была странно веселой. Она без конца колотила меня по руке:

– Если бы я знала, что ты весь вечер будешь дуться, я бы нашла себе другого молодого человека! – хохотала она.

Она пила терпкое рейнское вино бокал за бокалом и заставляла пить меня.

Основное веселье разгорелось после полуночи. Топот, крики, хохот, четыре оркестра, надрывающиеся каждый на свой лад, пары в вальсе – все слилось у меня перед глазами. Безудержный задор послевоенных лет царил здесь. Печально было видеть в неумном разгуле тощих юношей с торчащими скулами и с горящими, как у нервнобольных, глазами на изможденных лицах, девушек, открыто демонстрировавших свои желания в знак протеста против бессмысленных пут и ложных общественных предписаний.

Мария, вновь впихнув мне в руку бокал вина, пробормотала:

– Ах, Раиф, Раиф! Ты очень нехорошо поступаешь. Ты же видишь, сколько я усилий прилагаю, чтобы не скучать. Перестань, не грусти. Давай забудем обо всем сегодня ночью. Представь, что мы – это не мы. Мы – одни из тех, кто сегодня танцует в этих залах. Да и они-то...

Разве они такие, какими выглядят? Не хочу. Не хочу считать себя умнее или лучше остальных. Пей и веселись!

Я понял, что она уже опьянела. Встав, она пересела ко мне и положила руку мне на плечо. Мое сердце забилося, как сердце птицы, попавшей в сеть. Ей казалось, что я грустил. Она ошибалась. В тот вечер я был счастлив настолько, что не мог смеяться, потому что счастье свое я воспринимал всерьез.

Заиграли вальс. Я повернулся к ней.

– Пойдем, – сказал я. – Но я не очень хорошо танцую...

Она сделала вид, что не услышала второй части моих слов, и, вскочив, ответила:

– Пойдем!

Мы закружились в толпе. Танцем, правда, это назвать было трудно. Наш вальс состоял из того, что мы таскались вперед и назад по площадке, повинувшись воле толпы, сдавившей нас с четырех сторон. Но нам это не мешало. Мария смотрела на меня. В ее черных задумчивых глазах временами вспыхивало что-то непонятное мне, от чего я терялся. От ее кожи исходил легкий, но невероятно приятный аромат. Я сейчас был рядом с ней, я знал, что был важен ей.

– Мария! Как получается, что один человек может сделать счастливым другого? Какая поразительная сила сокрыта в нас! – пробормотал я.

В ее глазах опять вспыхнул тот странный огонек. Но, внимательно посмотрев на меня какое-то время, она продолжила молчать, закусив губу. Ее взгляд стал туманным и бессмысленным, а потом она сказала:

– Давай сядем! Такая толпа! Мне, кажется, все-таки скоро станет скучно!

Она выпила еще несколько бокалов вина. Через некоторое время, поднявшись, она произнесла:

– Я сейчас приду! – и, покачиваясь, удалилась.

Я долго ее ждал. Несмотря на ее настойчивость, я тем вечером не пил много. Я скорее потерялся от всего происходящего, нежели был пьян. Болела голова. Прошло примерно пятнадцать минут, но она не вернулась. Я заволновался. Я заглянул во все туалетные комнаты, беспокоясь, что она где-нибудь упала. Женщины наспех зашивали порвавшуюся одежду, поправляли перед зеркалами макияж. Марии не было нигде. Я проверил все углы всех залов, где, согнувшись на

стульях, дремали пьяные. Ее я не нашел. Я разволновался не на шутку. Расталкивая сидевших и стоявших людей, я бегал из зала в зал. Вихрем промчавшись по лестнице, я спустился на первый этаж и поискал ее там. Там ее тоже не было.

В это время мне показалось, что за запотевшей вращающейся дверью ресторана мелькнуло что-то знакомое. Я бросился на улицу и от увиденного застонал. Мария Пудер стояла прямо напротив входа в ресторан в одном платье, подняв руки над головой и прислонившись лицом к дереву. На ее волосы и плечи медленно падали снежинки. Услышав мой голос, она повернула голову и улыбнулась:

– Где ты был?

– Это вы где были? Что вы делаете? Вы с ума сошли! – закричал я.

Она неуверенно поднесла палец к губам:

– Шшш! Замолчи! Хочу подышать свежим воздухом.

Я почти насильно втащил ее внутрь, нашел стул и усадил. Поднявшись наверх, я оплатил счет и принес из гардероба свое пальто и ее шубку. Утопая ногами в снегу, мы пошли по улице.

Она крепко держала меня за руку и пыталась идти быстро. Повсюду было много пьяных парочек. По улицам шли толпы гуляющих. Женщины, одетые так легко, будто стояло лето, несмотря на погоду и поздний час, хохотали и распевали песни.

Мария тянула меня за локоть, чтобы мы быстрее прошли мимо этих веселых и пьяных людей. Иногда кто-то из прохожих повес говорил ей что-то задорное или пытался обнять, но она всякий раз отвечала сдержанной улыбкой и, искусно ускользнув, тащила меня за собой. Она была пьяна настолько, что с трудом держалась на ногах, и я понял, какую оплошность допустил.

Мы свернули на тихие улицы, где народу было поменьше, и Мария замедлила шаг. Она дышала глубоко и часто. Резко вдохнув, она обернулась ко мне:

– Ну и как? Ты доволен вечером? Тебе было весело? Ах, а мне так было весело, так весело, что...

Она захохотала, но внезапно закашлялась. От кашля она согнулась, плечи ее сотрясались от кашля, но руку мою она не выпускала.

Когда она слегка отдышалась, я сказал:

– Что с тобой? Видишь, ты простудилась!

Широко улыбнувшись, она ответила:

– Ах, а мне было так весело!

Казалось, что она вот-вот расплачется, и мне захотелось как можно скорее отвести ее домой и оставить одну.

К концу пути у нее начали заплетаться ноги. Казалось, сила и воля покинули ее. Между тем я на холоде окончательно протрезвел. Я вел ее, держа за талию и иногда даже наступая ей на ноги. В одном месте мы переходили улицу, но чуть было не упали вместе в снег. Она едва слышно что-то бормотала. Сначала я решил, что она что-то напевает, затем понял, что она обращается ко мне:

– Да... Вот такая я... – лепетала она. – Раиф... Милый Раиф... Такая вот я... Я же говорила. Сегодня – одна, завтра – другая... Но грустить не надо. Ты очень хороший парень... Правда: ты очень хороший парень!

Внезапно она принялась всхлипывать, а затем снова заговорила:

– Нет-нет, грустить незачем...

Через полчаса мы подошли к ее дому. Она прислонилась спиной к стене.

– Где ключ? – спросил я.

– Не обижайся, Раиф! Не обижайся на меня! Вот... Должен быть в кармане!

Засунув руку за пазуху, она достала связку из трех ключей и протянула мне.

Я открыл дверь парадного, но когда протянул руку, чтобы помочь ей подняться, она отпрянула и побежала вверх по лестнице.

– Осторожнее! Упадешь! – крикнул я.

Задыхаясь, она ответила:

– Нет... Я сама поднимусь!

Я шел за ней, поскольку ключи были у меня. Она остановилась в темноте, на одном из верхних этажей, и позвала:

– Иди сюда. Я здесь. Открывай эту дверь!

Я на ощупь нашел дверь и отпер. Мы вошли в квартиру. Мария зажгла свет. В квартире была старая, но хорошо сохранившаяся мебель, в глаза бросилась массивная дубовая кровать.

Я, замерев, стоял посреди квартиры. Мария сняла шубу и бросила ее на пол, а мне указала на стул:

– Садись!

Сама присела на краешек кровати. Затем быстро скинула туфли, чулки, стащила через голову платье, бросила его на стул и забралась под одеяло.

Я встал и молча протянул ей руку. Она внимательно смотрела на меня, будто впервые видела. Вдруг на ее лице расплылась пьяная улыбка. Я опустил глаза. Когда поднял их вновь, она слегка приподнялась на кровати, локтем опираясь на подушку, с широко раскрытыми глазами, будто очень взволнована, и лишь моргала, словно только что проснулась. Из-под одеяла выглядывало плечо – такое же бледное, как лицо.

– Замерзнешь, – сказал я.

Она резко потянула меня за руку, усадив на край кровати. Я опустил голову. Она придвинулась, взяла меня за обе руки и, зарывшись в них лицом, проговорила:

– Ах, Раиф. Значит, ты можешь быть и таким? Твое право... Но мне-то что делать? Ах, если бы ты знал... Если бы ты только знал... Но мы здорово повеселились, правда? Точно! Нет-нет, я точно знаю! Не отнимай руки. Я тебя ни разу таким не видела. Как хорошо, что ты можешь быть таким! Но как?

Я поднял голову. Она села рядом со мной на колени и положила руки мне на щеки:

– Послушай меня! То, о чем ты думал, – неправильно... Я тебе докажу... А главное – себе докажу... Почему ты так сидишь? Еще не веришь? Еще сомневаешься?

Она закрыла глаза. Казалось, она пыталась удержать в голове нечто, что ей никак не удавалось запомнить, и это требовало усилий: она морщила лоб и хмурила брови. Ее обнаженные плечи задрожали. Я потянул одеяло, накинул его ей на спину и стал придерживать, чтобы оно не сползло.

Через какое-то время она открыла глаза. Растерянно улыбаясь, проговорила:

– Вот так. Тебе тоже смешно, да? – но говорить больше не смогла и стала смотреть в угол комнаты.

Прядь волос у нее упала на лоб, а от ресниц к носу тянулась тень от лампы, светившей сбоку. Губы слегка дрожали. Лицо ее в тот момент было прекрасней, чем на картине, прекрасней даже, чем Мадонна Арпи. Рукой, которой я держал одеяло, я притянул ее к себе.

Она дрожала. Прерывисто дыша, она прижалась ко мне:

– Конечно... Конечно! Конечно, я вас люблю. И очень люблю... Разве могло быть по-другому?... Да, наверное, я вас люблю... Конечно же, люблю. Вы удивлены? Разве могло быть иначе? Вы думали, будет по-другому? Я понимаю, как сильно вы меня любите... И я люблю вас так же...

Она притянула к себе мою голову и стала осыпать мне лицо поцелуями, жаркими, как огонь.

Проснувшись утром, я услышал глубокое, ровное дыхание Марии. Она спала ко мне спиной, положив руку под голову. Волосы волнами рассыпались по белоснежной подушке. Рот был слегка приоткрыт, и когда она дышала, ноздри слегка трепетали, а несколько волосинок, упавших на губы, взлетали при каждом вдохе.

Я лег и принялся ждать, глядя в потолок. Мне не терпелось увидеть, как она посмотрит на меня, когда проснется, что скажет, однако я, сам не зная почему, боялся этого момента. Я не испытывал уверенности и спокойствия, которые надеялся ощутить, едва открою глаза. И никак не мог понять причины. Почему я все еще дрожал, как преступник, который ждет приговора? О чем еще я мог просить ее? Чего еще мне было желать? Разве все желания не исполнились в полной мере?

Я ощущал пустоту. Она давила на меня. Чего-то не хватало. Но чего? Я был расстроен, будто вышел из дома, но заметил, что забыл что-то важное, остановился, перебрал все в памяти и перерыл все карманы, но так и не смог понять, что же я забыл, и наконец, потеряв надежду, но все время думая об этом, нехотя продолжил путь.

Вскоре я заметил, что дыхания Марии не слышно. Я медленно поднял голову и посмотрел на нее.

Она лежала неподвижно, глядя куда-то вдаль. Даже не убрала волосы, упавшие ей на лицо. Она знала, что я на нее смотрю, но все равно не повернула головы и продолжала смотреть, не моргая, в ту неведомую даль. Я понял, что она проснулась давно. Отчего-то заволновался сильнее, грудь будто сдавило невидимым стальным обручем.

Мне подумалось, что все эмоции сейчас бессмысленны, страхи – неуместны, а омрачить самый светлый день своей жизни опасениями и

дурными предчувствиями – глупо, но от этой мысли стало еще тоскливей.

Не поворачивая головы, она произнесла:

– Вы проснулись?

– Да!.. А вы давно проснулись?

– Только что.

Ее голос придал мне смелости и спокойствия. Голос, который долгое время был сладчайшим звуком для моих ушей, как верный друг, напоминал только о хорошем. Но это длилось одно мгновение. Она спросила меня на «вы». В последние дни мы действительно часто путались, обращаясь друг к другу то на «ты», то на «вы». Но разве после такой ночи следовало так обращаться?

Может быть, она еще не проснулась.

Мария повернулась ко мне. Она улыбалась. Но улыбка была не такой, как обычно, искренней и нежной, а скорее похожей на ту, что расточалась клиентам «Атлантика».

– Не встаешь? – спросила она.

– Встаю! А ты?

– Не знаю. Не очень хорошо себя чувствую. Какая-то слабость. От выпивки, наверное... К тому же спина болит.

– Наверное, ты вчера простудилась! – сказал я. – Зачем ты вышла на улицу?

Она пожала плечами и отвернулась.

Я встал, умылся и быстро оделся. Чувствовал, что она краем глаза следит за мной.

В комнате воцарилось напряженное молчание. Я решил пошутить:

– Что-то мы неразговорчивы... Что это с нами? Мы уже надоели друг другу, как муж и жена?

Она с недоумением посмотрела на меня. Мне стало еще больше не по себе, и я замолчал. Затем сделал шаг к кровати. Мне хотелось приласкать ее, растопить лед между нами, пока он не стал толще. Она села, свесила ноги и накинула тонкую кофту, продолжая молча смотреть на меня. Что-то мешало мне подойти ближе. Наконец она спокойно спросила:

– Что-то не так? – Ее бледное лицо внезапно вспыхнуло, чего я прежде не видел. Она продолжала говорить, грудь ее тяжело вздымалась: – Что тебе еще нужно? Будешь требовать чего-то еще? А

вот я буду! Я много чего хочу, но ничего не получаю! Я испробовала все средства – ничего не помогает. Зато ты теперь можешь быть доволен! А мне что делать?

Она замолчала и поникла. Руки безвольно лежали на коленях. Пальцами голых ног она водила по ковру. Потом один большой палец задрала вверх, другие согнула, как ребенок.

Человек всегда боится потерять то, что является смыслом его жизни. Подвинув стул, я сел перед ней, взял ее за руки и дрожащим от волнения голосом сказал:

– Мария! Мария! Моя Мадонна в меховом манто! Что случилось? Что я тебе сделал? Я обещал, что не буду ничего требовать от тебя. Разве я не сдержал обещание? Что ты говоришь? Притом тогда, когда мы должны быть ближе всего друг другу?

Она покачала головой:

– Нет, мой друг, нет! Теперь мы дальше друг от друга, чем всегда! Потому что теперь у меня не осталось надежды. Это конец... Я сказала себе: «Попробую близость». Возможно, именно ее нам не хватало. Но нет... Во мне та же пустота. Она даже стала больше. Что делать? Ты не виноват. Я не люблю тебя. Между тем я хорошо знаю, что должна бы любить тебя одного в целом мире, что, не полюбив тебя, не смогу любить никого, что мне нужно будет распротиться со всеми надеждами. Но это не в моих силах... Значит, я такая. Нет иного выхода, только принять все как есть... Как бы я хотела... Как бы я хотела, чтобы все было по-другому... Милый мой Раиф... Добрый мой друг... Будь уверен: я, как ты, даже больше, чем ты, хотела, чтобы все было по-другому. Что теперь делать? Я не чувствую ничего, кроме мерзкого привкуса вчерашнего вина во рту и боли в спине.

Она помолчала какое-то время и закрыла глаза. Лицо стало, как прежде, милым, мягким. Нежным голосом, будто рассказывала сказку, она продолжала:

– Вчера, когда мы шли сюда, я так надеялась... Я думала, что случится чудо и я изменюсь, буду счастлива, но в то же время буду сильно волноваться, как невинная маленькая девочка, что вся жизнь моя перевернется. Я думала, что сегодня я проснусь в новом мире. Но все не так. За окном, как всегда, пасмурно, комната моя – холодна... Рядом, несмотря ни на что, – чужой, несмотря на близость, иной, не такой, как я, человек... В теле – усталость, в голове – боль...

Она снова легла. Закрыла руками глаза и продолжала:

– Значит, люди могут сближаться до известного предела, а после этого каждый шаг, рассчитанный на сближение, только удаляет. Я так хотела, чтобы предел нашего с тобой сближения не был его концом. Грустнее всего оттого, что надежда оказалась тщетной. Теперь нет никакой необходимости обманываться. Мы уже не сможем разговаривать так откровенно, как раньше. За что, ради чего мы все потеряли? Из-за пустяка! Пытаясь получить то, чего нет, мы потеряли то, что было. Все кончено? Не думаю. Мы оба не дети. Нам просто нужно какое-то время отдохнуть друг от друга. Пока вновь не захочется друг друга видеть. Ничего, Раиф. Когда это случится, я тебя разыщу. Может, мы опять станем друзьями и на этот раз будем умнее. Не будем ждать и просить друг у друга больше, что можем дать. А теперь давай, уходи. Я хочу побыть одна.

Она подняла руки, почти с мольбой посмотрела на меня и протянула ладонь.

Я взял ее за кончики пальцев и произнес:

– До свидания.

– Нет-нет! Так не годится! Вы уходите обиженный. Что я вам сделала? – воскликнула она.

Я с трудом ответил:

– Я не обижен, мне грустно!

– А мне разве не грустно? Меня ты не видишь? Не уходи так... Иди сюда!

Прижав мою голову к груди, она потерлась об нее щекой и погладила меня по волосам:

– А теперь улыбнись мне разок и уходи!

Я улыбнулся и, закрыв лицо руками, выскочил на улицу. И пошел, не разбирая дороги. Было безлюдно, почти все магазины были закрыты. Я шел на юг. Мимо проезжали трамваи и омнибусы с запотевшими стеклами. Я все шел... Начались дома с почерневшими фасадами, мощеные мостовые. Я продолжал путь... Мне стало жарко, я расстегнул пальто. Я дошел до окраины, но все продолжал идти. Шел под железнодорожными мостами, над замерзшими каналами... Все шел и шел. Шел несколько часов. Ни о чем не думал. Лишь шурился от холода и быстро, почти бегом, шагал вперед. Теперь по обеим сторонам от меня были ровные ряды сосен. Время от времени с веток

шумно падали комья снега. Мимо проезжали люди на велосипедах, вдалеке, сотрясая землю, пронесся поезд. Я все шел... В стороне справа показалось большое озеро, толпа людей каталась по нему на коньках. Я свернул в рощу. В лесу тут и там виднелась лыжня. Кое-где, окруженные проволочной сеткой и укрытые снегом, трепетали сосновые саженцы, похожие на детей в белых пелеринках. Вдалеке показалось двухэтажное деревянное здание пригородного клуба. Я вновь вышел к озеру. Девушки в коротких юбках и молодые люди в подвернутых брюках безостановочно скользили по льду. Иногда кто-то из них вращался на одной ноге или, взяв за руку другого фигуриста, удалялся за мысок неподалеку. Цветные шарфы девушек и светлые волосы юношей развевались по ветру, их тела ритмично покачивались от скорости; издали казалось, что они делают то выше, то ниже.

Я шел по щиколотку в снегу и внимательно смотрел на эту картину. Затем, свернув за здание клуба, направился к деревьям, стоящим невдалеке. Мне показалось, что однажды я уже видел все это, но я никак не мог вспомнить, когда был здесь. Примерно в паре сотен метров от здания клуба на пригорке росло несколько старых деревьев. Там я остановился и вновь стал смотреть на толпу катавшихся.

Кажется, я шел уже четыре часа. Я не заметил, как свернул с дороги и пришел сюда. Непонятно, почему я не вернулся в город. Голова горела уже не так сильно, нос вначале онемел от холода, но теперь отошел. Единственное, что я ощущал теперь – огромное чувство пустоты. Часть моей жизни, которую я считал самой наполненной, самой осмысленной и важной, внезапно опустела, утратила весь свой смысл. Я тосковал, как человек, пробудившийся ото сна, в котором осуществились все его заветные мечты. Я не был обижен на нее. Было только очень грустно. «Так не должно было случиться», – говорил я себе. Значит, она никак не могла меня полюбить. Она права. Меня никто никогда не любил. Женщины, вообще-то, престранные создания. Вспоминая свои впечатления о женщинах, я приходил к выводу, что они никогда не могут любить по-настоящему. Когда женщина готова полюбить, она на самом деле не любит, а терзается от неудовлетворенных желаний: пытается восстановить ущемленную гордость, сокрушается из-за потерянных возможностей, и все это является ей под маской любви.

Однако такие рассуждения были несправедливы по отношению к Марии. Несмотря ни на что, она была не как все. К тому же я видел, как она мучалась. Она не могла так переживать только из-за жалости. Она тоже страдала оттого, что искала и никак не могла найти. Но что именно она искала? Чего ей не хватало во мне, точнее, в наших отношениях?

Печально видеть, что когда, как кажется, женщина отдает все, она на самом деле не отдает ничего; грустно признавать, что в тот миг, когда, кажется, она ближе всего, она на самом деле бесконечно далека – настолько, что невозможно измерить.

Так не должно было случиться. Но теперь, как сказала Мария, делать было нечего, а уж особенно мне...

Какое право она имела так обойтись со мной? Много лет я жил, не сознавая, как пуста моя жизнь, отдалялся от людей, приписывая это странностям своей природы; я полз по жизни, но у меня не было никаких мыслей, какой должна быть моя жизнь, чтобы я был счастливым. Я чувствовал одиночество и страдал. Но тогда я не надеялся, что от этого можно избавиться. Когда Мария, вернее, ее портрет появился передо мной, я был именно таким. А она вырвала меня из темного, беззвучного мира, вывела на свет, к настоящей жизни. Я только с ней заметил, что у меня есть душа. А сейчас это все исчезало – так же беспричинно и внезапно, как появилось. Но я теперь никак не мог вернуться к прежнему сну. Отныне мне предстояло – все время, пока я жив, – странствовать по миру, встречать разных людей, говорящих на известных и неизвестных мне языках, и повсюду, в каждом встречном искать ее, Марию Пудер, Мадонну в меховом манто. Я уже знал, что нигде не смогу ее найти. Но не искать я не смогу. Она обрекла меня на вечный поиск неизвестного, никогда не существовавшего на земле. Она не должна была так поступать...

Грустные мысли одолевали меня. Отныне меня ожидает множество печальных лет. И примириться с тяжестью этой мысли нет сил. Едва подумав об этом, я вспомнил, где находился, – будто пелена упала с глаз. Озеро называлось Ванзее. Однажды мы с Марией ездили в Потсдам гулять в парке дворца «Сан-Суси» Фридриха II. Это место Мария показала мне из окна вагона и сказала, что под деревьями, где я сейчас стоял, около сотни лет назад немецкий поэт Клейст с возлюбленной совершили самоубийство.

Что привело меня сюда? Почему, следуя наугад, я сразу подошел к этим деревьям, как только увидел их? И зачем я вообще шел сюда, словно с кем-то договаривался? Был ли мой приход сюда, где двое влюбленных расстались с жизнью, решив даже умереть вместе, своеобразным ответом ей, человеку, которому я доверял больше всего на свете и который считал, что двое могут сближаться только до определенного предела? Или мне хотелось лишь убедиться и напомнить себе, что на свете бывают влюбленные, которые идут до конца? Не знаю. Не могу даже точно утверждать, думал ли я о чем-то в тот момент. Но земля, на которой я стоял, внезапно стала жечь мне ноги! Мне казалось, я видел, как они лежат рядом – мужчина с пулей в голове и женщина с пулей в груди. Казалось, я стою на их крови, которая стекает с пригорка извилистыми ручейками в маленькую лужицу. Их кровь слилась воедино, как их судьбы. И они лежали здесь, в нескольких шагах от меня. И они вместе навсегда... Попятившись, я бросился бежать – той же дорогой, что и пришел.

Снизу, с озера, доносился смех. Обнявшись за талию, пары катающихся сновали по озеру, словно бы пустившись в какой-то нескончаемый танец. Дверь клуба то и дело хлопала, изнутри доносился топот и громкая музыка. Те, кому надоедало кататься, поднявшись по склону на холм, шли в клуб: там можно было выпить грога и потанцевать.

Они веселились. Они жили. А я, наедине с собой и своими мыслями, был хуже них. Я всегда полагал, что свойство выделяться из массы есть признак не богатства души, а, напротив, ее ущербности. Обычные люди живут на свете как надо, выполняют свои обязанности, создают что-то новое. А что такое я? Чем занималась моя душа, кроме того, что точила меня, как червь – дерево? Эти деревья, снег, укрывший их ветви и корни, это деревянное здание, граммофон, замерзшее озеро и, наконец, эти люди, такие разные, заняты делом, которое поручила им жизнь. В каждом их движении крылся смысл, незаметный с первого взгляда. А я – как колесо телеги, которое крутится вхолостую, соскочив с оси, и еще пытаюсь извлечь преимущества из своего положения. Ясно, что я – самый бесполезный человек на свете. Если бы меня не было, жизнь бы ничего не потеряла. От меня никто ничего не ждет, размышлял я, и я ни от кого ничего не жду.

Именно в тот момент во мне произошли перемены, которые повлияли на всю мою дальнейшую жизнь. Именно тогда я поверил в свою ненужность, в свою бесполезность. Позднее бывало, что я будто вновь возвращался к жизни и полагал, что жил. Новое состояние даже, случалось, владело мною на протяжении нескольких дней и отвлекало меня на время. Но в глубине души у меня навсегда сохранилось убеждение: я никому не нужен. Ни один мой поступок не избежал его влияния; и даже сегодня, хотя прошло много лет, я помню все подробности того мгновения, которое, окончательно уничтожив мою смелость, навсегда отдалило меня от людей, окружавших меня. Теперь я вижу, что не ошибся тогда в выводах...

Я побежал к шоссе и направился в сторону Берлина. Со вчерашнего вечера у меня не было во рту ни крошки, но сильнее голода я ощущал какую-то дурноту. Ноги не устали, но по всему телу растеклось напряжение. Теперь я шел медленно, погружившись в мысли. По мере того как я приближался к городу, мое отчаяние усиливалось. Я никак не мог смириться с тем, что все последующие дни предстоит проводить без нее, такая перспектива казалась мне нелепой, невозможной... Конечно, я бы никогда не пошел умолять ее. Такое было невозможно для меня, да и пользы не принесло бы. Я воображал что-то похожее на мои детские фантазии, только безрассудней и глупей, даже с кровью: позвонить в «Атлантик» вечером, когда она будет там, позвать ее к телефону и, извинившись за беспокойство и коротко попрощавшись, пустить себе у трубки пулю в лоб... – вот это было бы здорово! Услышав странный звук, она бы сначала не поняла, что случилось, какое-то время ждала бы, а потом закричала бы как сумасшедшая: «Раиф! Раиф!» А я, лежа на земле и делая последний вдох, слушал бы ее крики и умер с улыбкой. Не зная, где я нахожусь, она не могла бы обратиться в полицию и металась бы в панике, а на следующее утро, листая дрожащими руками газеты, прочла бы подробности загадочной, не понятной никому трагедии. И тогда сердце ее забилося бы от тоски и горя, она поняла бы, что не забудет меня до конца дней своих, ведь мы связаны навек кровавой памятью.

Я подошел к городу, вновь пройдя все мосты. Близился вечер. Я не знал, куда иду. Зашел в какой-то скверик и сел на скамейку. Глаза болели. Посмотрел на небо. От снега замерзли ноги. Несмотря на это,

я просидел в скверике несколько часов. По телу разлилось странное оцепенение. Замерзнуть здесь и быть похороненным где-то на следующий день... Что бы сделала Мария, если бы через много дней случайно узнала об этом? Что бы появилось на ее на лице? Раскаивалась бы она в своем поступке?

Все мысли вращались вокруг нее. Я поднялся и продолжил путь. До центра города было еще несколько часов ходу. По дороге я начал разговаривать с собой. Все время обращался к ней. Как в первые дни нашего знакомства, в голове возникали тысячи красивых, соблазнительных, убедительных идей. Невозможно, чтобы мои слова не произвели на нее впечатления, не заставили бы ее передумать. Со слезами на глазах, дрожащим голосом я рассказывал ей о нашей близости, говорил, что в мире, где двоим так сложно обрести друг друга, мы не можем расстаться по столь глупой причине... Ей вначале показалось бы странным, что такой человек, как я, всегда спокойный и готовый со всем соглашаться, внезапно разгорячился, а затем она взяла бы меня за руки, улыбнулась бы и сказала: «Ты прав!»

Да! Нужно ее увидеть и сказать ей все это. Она должна изменить страшное решение, с которым я так легко согласился утром. Она изменит его. Быть может, она даже удивилась, что я, почти ничего не возразив, ушел от нее, и обиделась. Я должен был увидеть ее немедленно, сегодня же.

Я побродил до одиннадцати и вечером принялся ждать ее перед «Атлантикой». Но она не пришла. Я спросил о ней у швейцара, но он сказал, что ничего не знает: «Сегодня она не пришла!» Тогда я предположил, что ей стало хуже. Кинулся бегом к ее дому. Ее окна были темными. Наверное, она спала. Решив не беспокоить ее, я возвратился в пансион.

Три следующих дня я так же ждал ее у «Атлантика», затем шел к ее дому, смотрел на ее темные окна и, не решившись ни на что, возвращался. Каждый день я сидел у себя в комнате и пытался читать. Я переворачивал страницы, не видя букв. Иногда, вознамерившись вчитаться, начинал сначала, но через несколько строк замечал, что мысли очень далеко от книги. Днем я воспринимал все произошедшее как есть и понимал, что решение Марии – окончательное, что не остается ничего, только ждать, пока пройдет время. Однако ночью за работу принималась фантазия, она заставляла меня, словно больного

лихорадкой, грезить о невозможном, и, отбросив решения, принятые днем, я выбежал в темноте из дома и бродил там, где она ходила, или вокруг ее дома. Теперь я стеснялся спрашивать о ней у швейцара в «Атлантике» и довольствовался тем, что следил издали. Так прошло пять дней. Каждую ночь я видел ее во сне. Ближе, чем раньше.

На пятый день, поняв, что она вновь не вышла на работу, я позвонил из одного кафе в «Атлантик» и спросил Марию Пудер. Мне сказали, что она отсутствует уже несколько дней по болезни. Значит, она в самом деле тяжело заболела. Разве я в этом сомневался? Почему я ждал подтверждения, чтобы поверить, что она больна? Она бы не стала менять время работы, чтобы спрятаться от меня, и не стала бы просить швейцаров прогнать меня. Я направился к ее дому, решив разбудить ее, даже если она спит. Сложившиеся между нами отношения позволяли мне поступить так, несмотря ни на что. Глупо было придавать значение утренней сцене после ночных возлияний.

Задышавшись, я поднялся по лестнице и, чтобы не успеть засомневаться и передумать, быстро поднес руку к звонку, коротко позвонил и стал ждать. Внутри было тихо. Я позвонил еще несколько раз, долго. Я ждал услышать звук шагов, но все было тихо. Приоткрылась дверь напротив, и сонная молодая служанка спросила:

– Что вам нужно?

– Нужны жильцы этой квартиры!

Внимательно рассмотрев меня, она нелюбезно ответила:

– Никого нет!

Сердце мое забилося.

– Они переехали?

Мое беспокойство явно несколько смягчило ее, и, покачав головой, она ответила:

– Нет, мать ее еще в Праге. Сама она заболела, а так как смотреть за ней некому, участковый врач и отправил ее в больницу!

Я подскочил к девушке:

– Что с ней? Чем она больна? Тяжело? В какую больницу ее отправили? Когда?

Служанка в недоумении отступила на шаг:

– Да не кричите вы так! Всех перебудите! Два дня назад ее увезли. Кажется, в «Шаритэ».

Даже не поблагодарив, я бросился вниз по лестнице, перескакивая через ступеньки. У первого встречного полицейского я узнал, где находится клиника «Шаритэ». Я не знал, зачем шел туда. Огромное каменное здание повергало в трепет. Однако я смело направился к главному входу и позвонил в сторожку швейцара.

Швейцар был несколько более вежлив, чем того заслуживал полуночный посетитель, заставивший его выйти из тепла в такой холод, однако не имел никаких сведений, интересных для меня. Он ничего не знал ни о такой женщине, ни о ее болезни, ни о том, куда ее положили. На каждый мой вопрос он заученно улыбался: «Сударь, приходите завтра в девять, вот все и узнаете!»

Той ночью я по-настоящему понял, как я люблю Марию Пудер. Всю ночь я думал только о ней и до утра бродил вдоль высокого каменного забора. Я смотрел в окна больницы; во многих желтел тусклый свет. Я старался предположить, за каким из этих окон Мария. Мне хотелось быть рядом с ней, служить ей, вытирать пот с ее лба.

Тем вечером я понял, что один человек может привязаться к другому сильнее, чем к жизни. Еще я понял, что если потеряю ее, то мне не останется в этом мире ничего, кроме жалкого существования, и буду я катиться по земле, как пустой орех.

Ветер сдувал снег со стен, залепляя мне глаза. На пустынных улицах было тихо. Иногда в ворота клиники въезжала белая машина «Скорой помощи», а через некоторое время выезжала снова. Мимо второй раз прошел полицейский и подозрительно оглядел меня, а на третий раз спросил, почему я здесь хожу. Я ответил, что у меня в больнице знакомый, тогда он посоветовал мне пойти отдохнуть и прийти завтра; однако в последующие разы не говорил ничего, а лишь сочувственно смотрел на меня.

Начало светать, улицы постепенно оживали. Автомобилей, заезжавших и выезжавших из многочисленных ворот клиники, стало больше. Ровно в девять часов, хотя день был не для посещений, я попросил у дежурного врача позволения увидеть больную. Должно быть, выражение моего лица стало причиной того, что для меня сделали исключение.

Мария Пудер лежала в одноместной палате. Меня привела медсестра, она попросила долго не разговаривать, чтобы не утомлять больную. У Марии был плеврит. Но врач считал, что болезнь неопасна.

Мария подняла голову, увидела меня и заулыбалась. Затем на ее лице появилось беспокойство. Как только медсестра вышла из палаты, Мария спросила:

– Что с тобой случилось, Раиф?

Ее голос ничуть не изменился. Только бледное лицо приобрело желтоватый оттенок. Я подошел к ней:

– А с тобой что случилось? Ты только посмотри!

– Ничего... Скоро пройдет... Но у тебя такой измученный вид!

– Вечером я узнал в «Атлантике», что ты больна. Я пошел к тебе домой, служанка из соседней квартиры сказала мне, что тебя отвезли сюда. Ночью меня не пустили, так что пришлось ждать до утра!

– Где?

– Здесь... У больницы!

Мария серьезно и внимательно посмотрела на меня. Она хотела что-то сказать, но затем передумала.

Медсестра приоткрыла дверь. Я попрощался с больной. Она кивнула на прощание, но не улыбнулась.

Мария Пудер лежала в больнице двадцать пять дней. Может, ее продержали бы и дольше, но она заявила врачам, что в больнице ей надоело, а дома за ней будут хорошо ухаживать. Однажды снежным днем она выписалась из больницы и вернулась домой, получив на прощание множество подробных советов и пачки рецептов. Не очень хорошо помню, что делал те двадцать пять дней. Кажется, не делал ничего, кроме того, что приходил увидеть ее, стоял у ее кровати и смотрел на ее влажное лицо, на ее закрывающиеся глаза, на то, как тяжело вздымается ее грудь. Я даже и не жил в полном смысле; потому что, если бы жил, сейчас бы помнил хоть что-то из тех дней. Единственное, что осталось в памяти: когда я был рядом с ней, я испытывал огромный страх ее потерять. Почему-то пальцы ее ног, высовывавшиеся из-под одеяла, выглядели как у мертвой. А ее лицо, ее губы и улыбка словно ждали какого-то момента, удобного случая, чтобы подчиниться страшной перемене... Что бы я тогда делал? Сохраняя спокойствие, занялся бы необходимыми приготовлениями, выбрал бы место на кладбище, утешал бы ее мать, которая вернулась бы из Праги, и в конце концов в окружении каких-то людей опустил бы ее тело в могилу. Ушел бы вместе со всеми, чтобы вскоре тайком вернуться и остаться с ней наедине. Все началось бы именно с того

мгновения. Именно с того мгновения я бы ее потерял. И что потом? До этого места получалось продумать все в подробностях, но я никак не мог представить, что же будет потом. Что бы я смог делать после того, как оставил бы ее в земле, и после того, как пришедшие на похороны люди разошлись? Все дела, связанные с ней, закончились бы именно в тот миг, и моя жизнь стала бы нелепой и бессмысленной. Когда я думал об этом, в душе царила ужасная пустота.

Однако Марии стало лучше, и однажды она попросила:

– Поговори с врачами, пусть меня выпишут, – и как ни в чем не бывало добавила: – Ты будешь за мной лучше ухаживать.

Я молча помчался к врачу. Тот хотел оставить ее еще на несколько дней. Мы согласились. Наконец на двадцать пятый день ее пребывания в больнице я завернул ее в шубу и, держа под руку, помог спуститься с лестницы. Довез ее домой на такси, шофер помог нам подняться к ее квартире, поддерживая ее под руку с другой стороны. Все же когда я раздел ее и уложил в постель, она была полумертвая от усталости.

С того дня за ней ухаживал только я. Каждый день до полудня приходила пожилая женщина, которая убирала в доме, разжигала большую изразцовую печь, готовила еду для больной. Мария никак не соглашалась вызвать мать, несмотря на все мои настойчивые просьбы. Дрожащей рукой она писала ей в письмах: «У меня все хорошо, а ты отдыхай и зиму проведи там».

– Если она приедет, помогать мне не сможет. Ей самой нужна помощь... Только напрасно расстраиваться будет и меня расстраивать! – говорила Мария. А затем снова добавляла как ни в чем не бывало: – Ведь ты же ухаживаешь за мной! Или устал, уже надоело?

Говоря это, она не улыбалась, не шутила. Вообще, за все время болезни она почти не улыбалась. Только раз я увидел на ее лице улыбку – когда впервые пришел к ней в больницу. А после упрямо хранила серьезность. Она все время была задумчива – когда просила о чем-либо, или благодарила, или что-то говорила... По вечерам я сидел у ее постели допоздна, а приходил рано. Вскоре перенес из соседней комнаты большой диван и постельные принадлежности ее матери и начал оставаться с ней на ночь. Мы ни словом не вспоминали то, что произошло между нами после новогодней ночи, то, что, точнее говоря, и событием-то нельзя было назвать, тот маленький разговор. Все

случившееся затем: мои визиты в больницу, то, что я забрал ее домой, наша здешняя жизнь, – все это воспринималось нами настолько естественно, что при разговоре мы избегали даже малейшего намека на это. Было видно, что она размышляла о чем-то важном. Я чувствовал, что ее взгляд неотступно следует за мной, что ее глаза постоянно, без устали наблюдают за мной, когда я, занимаясь чем-либо, ходил по комнате или читал ей вслух книгу. Она словно искала во мне что-то. Однажды вечером я читал ей при свете настольной лампы повесть Якоба Вассермана^[21] «Нецелованные уста». В ней шла речь об учителе, которого никогда никто не любил и который состарился в ожидании любви, любимого человека, боясь признаться в этом даже самому себе. Автор мастерски изобразил душевное состояние одинокого человека, его надежды, о которых никто не догадывался, умиравшие так же быстро, как и рождались.

Когда я дочитал повесть до конца, Мария долго молчала с закрытыми глазами. Затем повернулась ко мне и равнодушно сказала:

– Ты не рассказывал, что делал после Нового года, когда мы расстались!

– Ничего! – ответил я.

– В самом деле?

Вновь воцарилась тишина. Она впервые заговорила об этом. Но я, как ни странно, не удивился. Я уже давно ждал этого вопроса. Вместо ответа я принес ей ужин. Затем хорошенько укрыл, снова сел к изголовью и спросил:

– Что-нибудь почитать?

– Как хочешь!

Обычно после ужина я старался, чтобы она уснула, и читал самые скучные вещи. Но тут я нерешительно спросил:

– Хочешь, расскажу, что делал после Нового года? Быстрее уснешь!

Она не улыбнулась на это и ничего не ответила, а только кивнула:

– Расскажи!

Я начал медленно рассказывать, время от времени останавливаясь, чтобы собраться с мыслями. Я рассказал ей, как вышел из ее дома, куда пошел, что видел и о чем думал на Ванзее; как по вечерам бродил по ее дороге в «Атлантик» и вокруг ее дома; и, наконец, как в последний вечер, узнав, что она в больнице, побежал

туда и до утра ждал на улице. Я говорил очень спокойно и невозмутимо, будто речь шла о постороннем человеке. Я останавливался на деталях, подробно рассказывал о каждом чувстве, стараясь вспомнить и проанализировать каждый его оттенок. Она, замерев, слушала меня с закрытыми глазами. Можно было подумать, что она спит. Но я все равно продолжал рассказывать. Я повторял больше даже для себя. Некоторые мои чувства были не очень понятны мне самому, но я рассказывал, как было, спорил с собой об их сути, но, так и не разобравшись, переходил к следующему эпизоду. Только раз, когда я рассказывал, как хотел попрощаться с ней по телефону, она открыла глаза, внимательно посмотрела на меня и снова закрыла. Ничто не отразилось на ее лице.

Я ничего не скрывал – не считал нужным. Ведь я не преследовал никакой цели. Теперь пережитое казалось мне чужим, будто произошло много лет назад. Между теми событиями и мной сейчас лежала пропасть. Поэтому я был далек от тайных мыслей и расчетов и беспристрастен в суждениях, касающихся меня и ее. Мне не вспомнилась ни одна из убедительнейших мыслей, атаковавших мой разум в те вечера, когда я ждал ее на дороге, но я и не пытался их вспомнить. У меня была лишь одна цель – просто рассказать. Я оценивал события не с точки зрения их связи со мной, а с точки зрения их важности. А она слушала очень внимательно, хотя лежала по-прежнему неподвижно.

Я хорошо чувствовал ее внимание. Когда я рассказывал, о чем думал, стоя у ее кровати в больнице, как представлял себе, что она умерла, ее веки несколько раз дрогнули.

Закончив рассказ, я замолчал. Она тоже молчала. Тишина длилась, может быть, минут десять. Наконец она открыла глаза, повернулась ко мне и впервые за долгое время слегка улыбнулась (или мне так показалось?) и сказала:

– Давай спать!

Я встал, постелил себе постель, разделся и выключил свет. Однако долго не мог заснуть. Она тоже не спала – не было слышно ее дыхания. Мне очень хотелось спать, но я ждал, когда услышу это мягкое и ровное дыхание, которое привык слышать каждый вечер. Веки тяжелели, я прилагал усилия, чтобы не забыться, все время шевелился. Но все равно уснул первым.

Утром я проснулся рано. В комнате было еще темно. Свет еще почти не проникал через занавески. Привычного звука – ее дыхания – вновь было не слышно.

В комнате стояла пугающая тишина. Мы словно ждали чего-то, в огромном душевном напряжении. В нас будто росло и полнилось что-то. Я ощущал это почти физически. В то же время было любопытно: когда она проснулась? А может, вовсе не спала? Мы лежали недвижно, но мне казалось, что вокруг нас роятся наши мысли.

Я медленно поднял голову, и когда глаза привыкли к темноте, увидел, что Мария сидит, подложив под спину подушку, и смотрит на меня.

– Доброе утро! – сказал я и пошел умываться.

Когда я вновь вошел в комнату, она сидела в той же позе. Я раздвинул занавески, убрал свою постель, открыл дверь уборщице и напоил Марию молоком.

Я делал все, почти не разговаривая. Я каждый день делал все это: вставал, убирал в комнате, кормил Марию завтраком, затем шел на мыловарню, где оставался до обеда, а после читал Марии газеты и книги, рассказывал о том, что видел и слышал на улице, и так проводил каждый вечер. Правильно ли все это было или нет? Я не знал. Все сложилось само собой, а я лишь повиновался ходу событий. Никаких желаний у меня не было. Я не думал ни о прошлом, ни о будущем, я жил только настоящим. На душе было спокойно и тихо, как на море в безветренную погоду.

Побрившись и одевшись, я попросил у Марии позволения уйти.

– Куда ты собираешься? – спросила она.

Я удивился:

– Ты не знаешь? На фабрику!

– Можешь сегодня не ходить?

– Почему?

– Не знаю. Хочу, чтобы ты сегодня весь день провел со мной!

Я подумал, что это каприз больной, но ничего не сказал и принялся перелистывать утренние газеты, которые оставила на постели уборщица.

Мария была странным образом взволнована. Отложив газеты, я подсел к ней и положил ей руку на лоб:

– Как ты сегодня себя чувствуешь?

– Хорошо... Очень хорошо...

Я почувствовал, что она не хочет, чтобы я убирал руку, хотя она не подавала виду. Мои пальцы будто прилипли к ее лбу – казалось, ее воля скопилась на поверхности ее кожи и не отпускала их.

– Значит, ты чувствуешь себя хорошо? А почему же ты не спала?

Сначала Мария удивилась, а потом покраснела – краснота разлилась от шеи к вискам. Было ясно, что она не хотела отвечать на мой вопрос. Внезапно она закрыла глаза, откинула голову, словно теряя сознание, и едва слышно пробормотала:

– Ах, Раиф!

– Что?

Она постаралась взять себя в руки и, прерывисто дыша, сказала:

– Ничего. Не хочу, чтобы ты сегодня уходил от меня... Знаешь почему? Как только ты уйдешь, я буду все время думать о том, что ты рассказал мне вчера вечером, и не смогу успокоиться ни на минуту.

– Знал бы, не рассказывал! – сказал я.

Она покачала головой:

– Нет, я не это хочу сказать. Я не о себе. Я теперь все время буду беспокоиться за тебя! Я боюсь оставлять тебя одного. Да, я почти не спала. Я все время думала о тебе. Я будто видела во всех подробностях, что ты делал, когда ушел, как ты бродил вокруг больницы, я видела даже то, о чем ты не рассказывал. Поэтому я теперь не оставлю тебя одного! Я боюсь... И не только сегодня. Теперь я никогда не отпущу тебя.

На лбу у Марии выступили капельки пота. Я медленно стер их. Горячая влага обожгла мне ладонь. Я удивленно смотрел на нее. Она улыбалась, впервые за долгое время улыбалась открытой, чистой улыбкой, но из ее глаз катились слезы. Я обнял ее и положил ее голову к себе на руки. Ее улыбка стала еще шире, еще спокойнее, но слез тоже стало больше. Она плакала молча, тихо. Я даже не представлял, что можно плакать так спокойно, так умиротворенно. Я взял ее за руки – они лежали на белом пододеяльнике как маленькие белые птички – и начал играть с ними. Загибал и разгибал ей пальцы, сжимал ее руку в кулак и зажимал в своей. Тонкие линии на ее ладони напоминали прожилки листка.

Потом осторожно опустил ее на подушку:

– Ты устанешь!

– Нет-нет, не надо. – Она обняла меня за руку. А затем, сверкнув глазами, добавила: – Теперь я знаю, чего нам не хватало! Это связано не с тобой, а со мной... Оказывается, это мне не хватало веры... Я не могла поверить, что ты так сильно меня любишь, поэтому думала, что и я тебя не люблю. Я только сейчас это поняла. Значит, люди лишили меня способности верить. Но теперь я верю. Ты заставил меня поверить. Я тебя люблю... Нет, я не схожу по тебе с ума, я просто спокойно тебя люблю. Я хочу тебя... Такое сильное желание... Ах, если бы мне только было лучше... Интересно, когда я поправлюсь?

Я не ответил ей, а лбом обтер ей слезы.

С того момента мы не разлучались, пока она не поправилась окончательно и не встала на ноги. Мне приходилось оставлять ее на несколько часов, чтобы купить еды и фруктов или зайти в пансион сменить белье, и тогда время начинало тянуться ужасно медленно. Поддерживая под руку, я сажал ее на диван или набрасывал ей на плечи тонкую кофточку и испытывал бесконечное счастье от того, что посвящаю жизнь другому человеку. Сидя рядом перед окном, мы часами молча смотрели на улицу, иногда переглядываясь и улыбаясь друг другу; мы словно становились детьми: она – из-за болезни, а я – от счастья. Прошло несколько недель, и у нее прибавилось сил. Мы начали выходить на полчаса, если погода была хорошей.

Перед прогулкой я заботливо одевал ее, даже надевал ей чулки – она кашляла, если сама наклонялась. Затем, накинув ей на плечи шубу, я помогал ей медленно спуститься с лестницы. Потом мы отдыхали на скамейке недалеко от ее дома, а оттуда шли к берегу какого-нибудь озера в Тиргартене и долго любовались водой с водорослями и лебедями.

А однажды все закончилось... Закончилось так просто, так быстро, что я сначала даже ничего не понял. Помню, я был огорчен и удивлен; но даже не подозревал, какое большое, какое неотвратимое влияние окажет то событие на мою жизнь.

В последнее время я стеснялся приходить в пансион. Хотя за комнату было уплачено вперед, хозяйка стала вести себя со мной несколько холодно, так как я перестал там ночевать. А однажды фрау Хеппнер сказала:

– Если вы переехали в другое место, скажите нам, чтобы мы сообщили в полицию. А не то мы будем виноваты!

Я попытался пошутить:

– Как я могу вас покинуть? – и ушел к себе. Комната, в которой я жил больше года, мои вещи, почти все привезенные мною из Турции, разбросанные по комнате книги показались мне чужими. Открыв чемодан, я взял то, за чем пришел, и завернул в газету. В это время вошла служанка:

– Вам три дня назад пришла телеграмма! – и протянула сложенную бумажку.

Сначала я ничего не понял. Все не мог взять телеграмму из рук служанки. Нет, эта бумажка не могла иметь ко мне никакого отношения. Я не желал знать, что там написано, я надеялся, что сумею отогнать несчастье, кружившее надо мной.

Служанка, увидев, что я не реагирую, положила телеграмму на стол и вышла. Я вскочил и одним движением распечатал телеграмму. Будь что будет.

Телеграмма была от мужа сестры. «Твой отец умер. Деньги на дорогу выслал. Приезжай немедленно». И все. Несколько простых, ясных слов. Я долго смотрел на листок бумаги в руке. Прочитал каждое слово несколько раз, затем встал, зажав под мышкой собранный пакет, и вышел.

Что произошло? Вокруг ничего не изменилось. Все оставалось таким, как было. Перемены не было ни во мне, ни в предметах, окружавших меня. Мария, должно быть, ждала меня у окна. Но я уже был не тот, что полчаса назад. За несколько тысяч километров от меня внезапно умер человек; и хотя это произошло много дней, может, даже много недель назад, ни я, ни Мария ничего не почувствовали. Шли дни, похожие один на другой. А бумажка размером с ладонь внезапно изменила все. Она забирала меня из этого мира и возвращала в тот, напоминала мне, что я здесь чужой, что принадлежу далеким краям, откуда пришла телеграмма.

Я признавал, что считать свою нынешнюю жизнь, начавшуюся несколько месяцев назад, настоящей и надеяться на ее продолжение значило бы сильно обманываться. В то же время я не желал признать истину. Так не должно было случиться. Не так важно родиться где-то и быть сыном какого-то человека. Самое важное – обрести счастье в этом мире, где двоим людям так сложно найти друг друга. Остальное – лишь детали. Остальное должно складываться само собой, должно

быть нацелено на главное, подчиняться главному: мы нашли друг друга.

Однако я хорошо понимал, что этого не будет. Ведь наша жизнь часто бывает игрушкой некоторых незначительных обстоятельств и деталей, потому что и состоит из деталей. Наша логика никогда не совпадает с логикой жизни. Женщина может выглянуть из окна поезда, и в это время ей в глаз попадет уголек, вылетевший из трубы паровоза, она потрет глаз, и крошечная случайность приведет к тому, что один из самых прекрасных глаз мира ослепнет. Или вот взять черепицу: легкий порыв ветра сорвет ее, и она разобьет голову человека, разумом которого восхищается эпоха. Конечно, никому не придет в голову размышлять, что важнее – глаз или уголек, черепица или человеческая голова, мы вынуждены принимать все как есть и, не задумываясь, покорно смиряться и со многими другими капризами жизни.

Но правильно ли это было? Действительно: иногда происходят события, которые невозможно предотвратить, и невозможно понять их причину, их логику. Но порой происходит нечто настолько нелогичное и непоследовательное, чего вполне могло и не быть, хотя оно и свершилось якобы по законам природы. Например, что связывало меня с Хавраном? Несколько оливковых рощ, несколько мыловарен, несколько родственников, с которыми я никогда не стремился знаться... Между тем к этому городу я был привязан всей жизнью, всей душой. Тогда почему нельзя здесь остаться? Очень просто: в Хавране дела придут в запустение, мужья сестер не будут присылать мне денег, и я, будучи неспособен ничем заняться, буду терпеть лишения. К тому же было еще много других мелких обстоятельств: паспорт, виза, разрешение на пребывание... Невозможно осознать, насколько все это важно для человеческой жизни в целом, но очевидно, что все это было достаточно важным, чтобы изменить ход моей жизни.

Когда я рассказал об этом Марии, она долго молчала. На ее лице блуждала странная улыбка, она смотрела перед собой, словно говоря: «Я так и знала!» Я думал, что если расскажу обо всем, что происходит у меня в душе, то буду выглядеть смешным, и я, прилагая огромные усилия, старался сохранять спокойствие. Только несколько раз я проговорил:

– Что мне делать? Что делать?

– Что тебе делать? Ехать, конечно! Я тоже уеду на время. Я ведь еще долго не смогу работать. Побуду в Праге, с мамой. Может быть, тамошняя жизнь на свежем воздухе пойдет мне на пользу. Весну проведу там.

Мне показалось немного странным, что она заговорила о своих планах, словно забыв обо мне. А она украдкой смотрела на меня.

– Когда ты собираешься ехать?

– Не знаю. Как только получу деньги на дорогу, нужно ехать...

– Может, я уеду раньше.

– Зачем?!

Ее рассмешило мое волнение.

– Ты как ребенок, Раиф! Беспокойство и волнение из-за того, что невозможно предотвратить, – детство. К тому же время еще есть, мы многое обдумаем и о многом договоримся.

Я отправился уладить некоторые мелкие дела и распрощаться с пансионом. И несколько удивился, когда, вернувшись под вечер, застал Марию полностью готовой к отъезду.

– Зачем терять время? – сказала она. – Я решила поскорее уехать и оставить тебя собираться в дорогу. А еще... Как сказать... Я решила уехать из Берлина раньше тебя... Сама не знаю, почему...

– Как хочешь!

Больше мы ни о чем не разговаривали. Мы ни словом не упомянули о том, что хотели что-то обдумать и о чем-то договориться.

На следующий день она уехала вечерним поездом. На прогулку после обеда мы не пошли. Мы сидели перед окном и смотрели на улицу. Мы записали друг другу в блокноты наши адреса. Чтобы ее письма доходили до меня, я должен был в каждом письме отправлять конверт с обратным адресом, потому что она не могла писать арабскими буквами, а у нас на почте в Хавране никто не читал на латинице^[22].

Примерно час мы болтали о пустяках – что зима была долгой, ведь уже конец февраля, а снег еще не сошел. Ясно было, что ей хотелось, чтобы поскорее прошло время. Между тем я желал – какой бы это ни было глупостью, – чтобы время, пока мы вместе, остановилось и никогда не кончалось.

Несмотря на это, все, что мы обсуждали, было на удивление бессмысленным. Видимо, чувствуя это, мы время от времени

растерянно улыбались друг другу. Когда надо было уже ехать на вокзал, мы оба едва не вздохнули с облегчением. После этого время помчалось с ужасной скоростью. Разложив вещи в купе, она не стала оставаться в вагоне и вышла вместе со мной на перрон. Двадцать минут, которые показались мне короче секунды, были заполнены теми же бессмысленными улыбками. В мозгу пронеслись тысячи мыслей. Но вместо того чтобы попытаться успеть сказать о них за такое короткое время, я предпочел вообще ничего не говорить. Между тем со вчерашнего дня можно было сказать многое. Почему мы расставались так просто?

Казалось, в последние несколько минут Мария утратила спокойствие. Заметив это, я обрадовался: было бы очень грустно видеть, что она уезжает невозмутимой. Она то и дело брала меня за руки и бормотала:

– Что за глупость? Ну зачем же ты уезжаешь?

– Вообще-то, уезжаешь ты, а я еще остаюсь! – заметил я.

Она словно не услышала моих слов и опять взяла меня за руку.

– Раиф... Я сейчас уезжаю!

– Да... Я знаю!

Настало время отправления поезда. Проводник закрывал дверь вагона. Мария прыгнула на ступеньку лестницы, а затем, нагнувшись ко мне, тихо, но отчетливо произнесла:

– Я сейчас уезжаю. Но приеду, когда позовешь.

Сначала я не понял, что она хочет сказать. Она на миг замолчала, но затем добавила:

– Приеду туда, куда позовешь!

На этот раз я понял. Я бросился ловить, целовать ее руки. Мария вошла в вагон. Поезд тихо тронулся. Какое-то время я бежал рядом с окном, у которого она стояла, затем замедлил бег, помахал и прокричал:

– Позову! Непременно позову!

Она улыбнулась и кивнула. И лицо ее, и ее взгляд говорили мне, что она мне верит.

Мне было тоскливо, словно я не завершил начатый разговор. Почему мы со вчерашнего дня не говорили об этом? Почему мы говорили о сборе чемоданов, об удовольствии путешествий, о нынешней зиме, но при этом даже ни словом не упомянули о главном,

что касалось нас обоих? Хотя, может, так было и лучше. О чем можно было говорить? Все равно все свелось бы к одному и тому же. Мария нашла прекрасный выход... Конечно... Предложение и согласие... Коротко, без споров и раздумий! Мы не могли бы расстаться лучше. Несколько красивых фраз, которые я заготовил, страдая, что не в состоянии сказать всего, были гораздо ущербнее и бесцветнее того, что сказала Мария.

Сейчас я начал понимать, почему она уехала раньше. После моего отъезда ей было бы тоскливо в Берлине. Мне самому было тяжело проходить по улицам, где мы с ней гуляли, хотя я был занят делами, собираясь в дорогу, улаживал дела с паспортом и билетами, и у меня не было свободной минуты. Между тем расстраиваться было уже не из-за чего. Я собирался вызвать ее сразу же, как только вернусь в Турцию и улажу дела с наследством. Вот так... Мой большой талант к фантазиям проявил себя и на этот раз. Перед глазами представал прекрасный особняк, который я прикажу возвести в окрестностях Хаврана, и леса с холмами, по которым мы с ней гуляем.

Спустя четыре дня я возвратился в Турцию через Польшу и Румынию. Во время того путешествия, а впрочем, и за долгие годы, следовавшие после него, не произошло ничего примечательного... О причине, заставившей меня вернуться в Турцию, я задумался, только когда сел в Констанце на пароход. Значит, отец умер. Мне стало стыдно, что я так поздно осознал его смерть. Не могу сказать, что любил отца: между нами всегда царила отчужденность, и если бы кто-то меня спросил: «Хорошим ли человеком был твой отец?», я бы не нашелся, что ответить. Я не знал его настолько, чтобы судить, хороший он человек или плохой. Отец как человек почти не существовал для меня; он был скорее абстрактным воплощением понятия отца. Как сильно отличался полысевший, с окладистой бородой человек, под вечер безмолвно и хмуро возвращавшийся домой, не считавший необходимым поговорить ни с нами, ни с матерью, от человека, которого я однажды видел в городской кофейне, который хохотал во весь рот, пил айран и, ругаясь, играл в нарды... Как я хотел бы, чтобы этот второй и был моим отцом! Но даже там он сразу нахмурился, увидев меня:

– Чего слоняешься здесь? Давай выпей шербета и иди отсюда, домой, там играй!

Он не изменился ко мне, даже когда я пошел в армию. Напротив, по мере того, как я полагал, что набираюсь ума, в его глазах я, казалось, падал еще ниже. Мои собственные мысли и соображения, которые я теперь иногда высказывал, он воспринимал с некоторым пренебрежением, а если отвечал согласием на что-то, то лишь потому, что не желал снисходить до споров со мной.

Несмотря на все это, я не таил на него зла. Мне предстояло ощутить не отсутствие каких-либо его качеств, а то, что его самого уже нет. По мере того, как я приближался к Хаврану, мне становилось грустнее. Тяжело было представлять наш дом и наш городок без него.

Подробно описывать все печальные детали здесь нет никакой необходимости. Я бы даже предпочел не рассказывать о десяти годах, предшествовавших сегодняшнему дню, но ради того, чтобы некоторые обстоятельства были понятнее, нужно хотя бы несколько страниц посвятить описанию самого бессмысленного периода моей жизни. В Хавране меня приняли не радостно. Зятя словно насмехались надо мной, сестры казались совсем чужими, а мать была несчастнее, чем всегда. Наш дом стоял закрытым, мать переехала к старшему зятю. Мне переехать не предложили, и я поселился один в большом доме с одной из наших старых служанок. Начав заниматься делами отца, я узнал, что наследство было разделено еще до его смерти. От мужей сестер я никак не мог узнать, что же досталось мне. О мыловарнях нигде не упоминалось; стало ясно, что отец какое-то время назад продал их одному из зятьев. Денег за мыловарни тоже не было, не обнаружилось и остальных наличных денег и золота, которых у отца, как говорили, всегда было много. Мать ни за чем не уследила. На все мои вопросы она отвечала:

– Откуда мне знать, сынок? Покойный умер, не сообщив никому, куда он их закопал. В последние дни твои зятя не отходили от него... Кто мог подумать, что он умрет? Ясно, он не успел сказать, куда закопал... Что теперь делать? Сходить хотя бы к гадалке... Гадалки все знают!

И действительно, после смерти отца в окрестностях Хаврана не осталось ни одной гадалки, у которой бы мать не побывала. По советам гадалок в оливковых рощах не осталось дерева, под которым бы не копали, а в доме не осталось ни одной стены, под которой бы не искали. Некоторые небольшие средства, которые у нее оставались,

мать потратила на это. Сестры ходили к гадалкам вместе с ней, но на расходы не очень-то соглашались. А я замечал, что мужья сестер втайне посмеиваются над их нескончаемыми раскопками.

Поскольку время сбора урожая уже прошло, заработать что-либо с оливковых рощ было невозможно. Продав с части деревьев урожай будущего года, я обеспечил себе несколько курушей. Я планировал кое-как перебиться летом, а осенью, едва начнется сезон, приложить все усердие, исправить положение и сразу же вызвать Марию Пудер.

После того как я вернулся в Турцию, мы с ней часто переписывались. Наша переписка придавала мне немного бодрости той грязной весной и душными летними днями, когда я занимался разными бессмысленными делами. Примерно через месяц после моего отъезда они с матерью возвратились в Берлин. Я отправлял письма в центральное почтовое отделение на Потсдамской площади, а оттуда она сама их забирала. В середине лета от нее пришло странное письмо. Она написала, что у нее есть хорошая новость для меня, но что это за новость, она скажет только когда приедет и только сама. (Я писал, что надеюсь вызвать ее осенью!) После этого Мария так и не написала, что же это была за новость, хотя я много раз в письмах спрашивал ее об этом. Она все время отвечала: «Подожди! Узнаешь, когда я приеду!»

Да, я ждал; ждал не только до осени, а целых десять лет... И узнал о том, что же это была за «хорошая новость», ровно через десять лет. Я узнал об этом вчера вечером... Но следует рассказать все по порядку.

Все лето, верхом, в сапогах, я ездил по оливковым рощам и горам в окрестностях Хаврана. Я с удивлением видел, что отец почему-то оставил мне оливковые деревья в самых непроходимых, самых неплодородных, самых плохих местах. Напротив, рощи на равнине, там, где было много воды, и вблизи нашего городка, где каждое дерево приносило по полмешка урожая, достались сестрам, то есть их мужьям. Во время прогулок я заметил, что большая часть деревьев в горах начала дичать из-за того, что за ними годами не ухаживали, и что, пока был жив отец, никто не утруждался подняться в горы и собрать урожай.

Создавалось впечатление, что в мое отсутствие кто-то плел против меня интриги, воспользовавшись болезнью отца, робостью матери,

боязливостью сестер. Но я надеялся все исправить, работая без устали, а каждое письмо Марии воодушевляло меня и вселяло уверенность.

В начале октября, когда начинался сезон сбора оливок и как раз когда я собирался ее позвать, она внезапно перестала писать. Я распорядился отремонтировать дом; испытывая доходящее до оскорблений презрение и изумление всех жителей Хаврана и, конечно, прежде всего родственников, я заказал в Стамбуле множество домашней утвари, и, среди прочего, выписал еще и ванну и, приказав выложить фаянсом маленькую старую умывальню, поставил ее там.

Я никому не раскрывал причину своих действий, поэтому все приписывали мои поступки щегольству, желанию подражать европейской моде. Когда такой человек, как я, который еще не привел в какой-то порядок свои дела, тратит несколько курушей, полученных в долг или за будущий урожай, на то, чтобы купить зеркальный шкаф и ванну, все воспринимают это как сумасшествие. Я про себя смеялся над всеми упреками. Эти люди не могли меня понять. А я вовсе не обязан был что-то объяснять им.

Прошло две-три недели, а от Марии так и не было нового письма, что стало очень волновать меня. Рассудок, вечно готовый сомневаться и подозревать, принялся изводить меня тысячами предположений. Я написал еще несколько писем, одно за другим, и, не получив ответа на них, совсем отчаялся. В последнее время ее письма вообще приходили значительно реже, были все короче, а написаны словно через силу... Я перечитал все ее письма по одному. В письмах последних месяцев чувствовалась некоторая растерянность, будто Мария что-то скрывала, встречались туманные и уклончивые выражения, которые были не к лицу всегда такой открытой Марии. Я, бывало, даже впадал в сомнение, – а хочет ли она, чтобы я позвал ее, или боится, что я ее позову, и переживает, что ей придется нарушить данное мне слово. Теперь я искал скрытый смысл в каждой строчке, в каждой фразе, в каждой шутке, и сходил с ума.

Все мои письма оказались напрасны, и все мои страхи оправдались.

Я больше не получал вестей от Марии Пудер и не слышал о ней... Только вчера... Но мы еще не дошли до этого...

Через месяц вернулись последние письма с пометкой «возвращены отправителю ввиду неявки адресата». Тогда я утратил

всякую надежду. Даже сегодня я удивляюсь, вспоминая, как быстро я изменился всего за несколько дней. Из меня словно вынули что-то, что давало мне способность двигаться, видеть, слышать, чувствовать, думать, – одним словом, жить. Казалось, я превратился в бесформенное, безвольное ничто.

На сей раз я не переживал того, что пережил после Нового года. Тогда я не терял надежды. В то время меня не покидало ощущение, что я нахожусь рядом с ней, что я могу пойти и поговорить с ней, убедить ее. Сейчас я чувствовал себя совершенно несчастным и неспособным ничего предпринять. Огромное расстояние, разделявшее нас, связывало меня по рукам и ногам. Я закрылся в доме, бродил по комнатам, снова и снова перечитывал ее письма и свои вернувшиеся, останавливался на деталях, которым раньше не придавал значения, и горько усмеялся.

Интерес к делам и к самому себе у меня ослабел, почти угас. Не помню, кому я поручил стрясти и собрать оливки, отвезти на фабрику и отжать масло. Иногда, надев сапоги, я отправлялся бродить по полям, но предпочитал безлюдные места, домой возвращался за полночь, ложился на миндере^[23] и после нескольких часов сна просыпался с горьким чувством: «Почему я еще жив?»

Снова потянулись пустые, бесцельные, бессмысленные дни, как до знакомства с Марией Пудер, только теперь они были мучительнее, чем раньше. Разница была в том, что раньше я полагал, что жизнь вообще состоит из таких дней, а сейчас неопытность и незнание жизни сменилось болью от сознания того, что я узнал – можно жить и по-другому. Теперь я не замечал, что происходило вокруг. Я чувствовал, что ничто больше не сможет доставить мне радость.

За короткое время эта женщина спасла меня от обычного моего жалкого, ничтожного существования, научила меня быть мужчиной, точнее говоря, человеком, показала, что и у меня есть качества, необходимые, чтобы жить по-настоящему, и что мир не такой бессмысленный, как я полагал. Но как только я утратил с ней связь, как только вышел из-под ее влияния, я вновь вернулся к прежнему состоянию. Теперь я понимал, как она была нужна мне. Я был не из тех людей, кто смог бы идти по жизни один. Мне всегда нужна была поддержка такого человека, как она. Без этого моя жизнь была

невозможна. Но я жил, несмотря ни на что... Жил, если это можно назвать жизнью... Результат такой жизни налицо...

Я больше не получал вестей от Марии. В ответе от хозяйки пансиона в Берлине сообщалось, что фрау ван Тидеманн у них больше не проживает, поэтому необходимых сведений она сообщить мне не может. Кого я еще мог спросить? Она писала, что, когда они с матерью вернулась из Праги, они переехали. Но нового адреса я не знал. Я изумился, поняв, как мало людей я узнал за почти два года, проведенных в Германии. Я нигде не был, кроме Берлина. При этом город я знал вдоль и поперек, до закоулков. Не было музея, картинной галереи, ботанического и зоологического сада, который бы я не посетил, я обошел все парки и видел все озера в окрестностях. Но из миллионов жителей этого города я говорил лишь с несколькими. И лишь одного человека узнал близко.

Может, этого было достаточно. Может быть, достаточно лишь одного человека. Но когда и этого человека нет? Что делать, если все оказывается призраком, обманчивым сном, плодом воображения? На этот раз способность верить и надеяться я утратил. Во мне появилась такая горечь, такое недоверие к людям, что иногда самому становилось страшно. Теперь я в каждом, кто бы он ни был, видел врага или по меньшей мере опасного мне человека. С годами это чувство не ослабло, а, напротив, усилилось. Подозрительность к людям переросла в ненависть. Я убегал от всех, кто хотел со мной сблизиться. Больше всего я боялся самых близких людей или тех, которые могли стать таковыми. «Чего ждать, раз даже она так поступила?» – говорил я себе... Как поступила – неизвестно; но именно от неизвестности я в воображении останавливался на самых дурных предположениях и выносил самые строгие суждения. Вот так... Самый простой выход, чтобы не держать слово, данное в момент расставания под воздействием простого волнения, – разорвать связь без объяснений. Не забирать письма с почты. Не отвечать. Все, в существование чего я верил, исчезло в один миг. Кто знал, какое еще приключение, какое новое счастье – близкое и понятное – распахнуло ей теперь свои объятия? У нее всегда прекрасно работала голова, и она вряд ли бы согласилась оставить все и броситься в неизвестность, в приключения с сомнительным концом, связав себя словом, сказанным лишь чтобы привязать к себе простодушного парня.

Почему-то я никак не мог заставить себя поверить в произошедшее, хотя продумал все очень подробно. Однако теперь я опасался каждого нового пути, возникавшего в моей жизни, каждого нового человека я встречал с тревогой, будто он собирался причинить мне зло. Иногда случалось, что я забывался и находил в ком-то родственные черты. Но страшная мысль, застрявшая в уме, как в тупике, тут же возвращала меня к действительности: «Помни и не забывай, что она была тебе ближе всех! И все равно так поступила!» Как только я видел, что начинаю с кем-то сближаться и у меня появляется надежда, я говорил себе: «Она была мне еще ближе. Между нами не оставалось никаких преград. И каков конец!» Я не мог никому верить, не был в состоянии верить... Каждый день, каждый миг я чувствовал, насколько это ужасно. Я предпринимал усилия, чтобы избавиться от этого чувства, но они были тщетны... Я женился. Уже в первый день я понял, что моя жена – самый далекий мне человек. У нас родились дети. Я любил их, но знал, что они никогда не смогут мне дать того, что я потерял.

Дела теперь не интересовали меня. Я работал механически, не сознавая, что делаю. Меня обманывали, и я знал об этом, но даже получал некоторое удовольствие. Зятья стали считать меня дураком, а я не обращал на это внимания. На выплату долгов и процентов, а также на свадебные расходы ушли мои последние средства. Оливковые рощи денег не приносили. Состоятельные люди привыкли приобретать бесхозное имущество за бесценок. Дерево, которое в год могло принести урожай на семь-восемь лир, никто не желал покупать и за пол-лиры. Зятья заплатили мои долги и купили у меня оливковые рощи, но только чтобы спасти меня из затруднительного положения и чтобы не разбазаривать семейное имущество. У меня не оставалось ничего, кроме запущенного дома в четырнадцать комнат и некоторых вещей. Отец моей жены был жив и работал чиновником в Балыкесире^[24]; по его рекомендации я поступил служащим в одну контору в столице вилайета^[25]. Я проработал там много лет. Груз семейных забот увеличивался, а мой интерес к жизни становился слабее, и я наконец перестал даже прилагать усилия, чтобы этот интерес усилить. Тесть умер, забота о братьях и сестре жены осталась на мне. На сорок лир, которые я зарабатывал, прожить всем было невозможно. Дальний родственник моей жены пригласил меня в

Анкару, в банк, где я сейчас работаю. Он надеялся, что, раз я знаю иностранный язык, смогу быстро подняться по службе, несмотря на робость. Но ожидаемого не вышло. Где бы я ни был, окружающие не замечали меня. Часто появлялись разные возможности, сулившие надежду, разные люди давали мне повод начать новую жизнь и расходовать нерастраченную любовь, которой, я знал, было слишком много у меня в душе. Но я никак не мог избавиться от сомнений. Я поверил только однажды, только одному человеку на свете. Так сильно поверил, что, когда обманулся, сил верить больше не осталось. Я не сердился на нее. Я чувствовал, что не могу на нее ни сердиться, ни таить зло на нее, ни думать о ней плохое. Но она меня обидела. Обида на человека, которому я поверил больше всех, распространилась почти на всех людей, потому что Мария и была для меня воплощением всех людей. Прошло много лет, но я чувствовал еще больше раздражения, видя, что по-прежнему привязан к ней. А она, должно быть, давно меня забыла. Кто знает, с кем она теперь жила, с кем ходила гулять? По вечерам, слушая детские крики, шарканье тапок жены, моющей на кухне посуду, звон тарелок и громкие споры свояченицы с шуринами, я закрывал глаза и представлял, где сейчас Мария. Может, она сейчас снова любит деревья с красными листьями в ботаническом саду с кем-то, кто разделяет ее мысли, или же рассматривает бессмертные творения какого-нибудь художника в полутемном зале какого-нибудь музея, в окно которого светит луч заходящего солнца? Однажды вечером я возвращался домой и зашел в бакалейную лавку нашего квартала. Когда я собирался выходить, радио в квартире одного холостяка, снимавшего жилье в доме напротив, заиграло увертюру к опере Вебера «Оберон». Я чуть не выронил пакеты из рук. На эту оперу мы ходили вместе с Марией, у Марии была особая любовь к Веберу; она, бывало, насвистывала увертюру к этой опере, когда куда-то шла. Я ощутил такую сильную тоску по ней, будто мы расстались только вчера. Боль от потери ценностей – богатства, любых земных благ – со временем проходит. Лишь упущенные возможности не забываются никогда и причиняют боль при каждом воспоминании. Причина, должно быть, кроется в мысли, что все могло быть иначе, ибо человек всегда готов смириться с тем, что считается заранее предопределенным.

Я не испытывал особого интереса к себе со стороны жены и детей, одним словом, со стороны всех домашних; но я также знал, что не имею права ожидать этого. Во мне окончательно укрепилось ощущение бесполезности, которое я впервые испытал в Берлине, в то грустное первое утро Нового года. Зачем я был нужен этим людям? Разве можно было терпеть меня ради нескольких курушей на пропитание? Люди ждут друг от друга не материальной помощи и денег, а любви и участия. Когда этого нет, обязанность главы семьи сводится к тому, чтобы кормить нескольких чужих людей. Я мечтал, чтобы все это поскорее закончилось, мечтал о дне, когда все они не смогут нуждаться во мне. Постепенно моя жизнь превратилась в томительное ожидание того, еще такого далекого дня. Я жил как узник, который ждет, когда окончатся дни его заключения. Жизнь была ценна для меня лишь с точки зрения того, что каждый новый день приближал меня к этому исходу. Я жил как растение – не жалуясь, не думая, не проявляя воли. Постепенно все мои чувства притупились. Ничто больше не огорчало, ничто не радовало.

Я не мог сердиться на людей, поскольку самый ценный из них, самый лучший и самый любимый человек причинил мне самое большое зло; разве можно было ждать чего-то иного от других? Я не мог любить людей и вновь сблизиться с ними, потому что обманулся в человеке, которому верил больше всего, которому больше всего доверял. Мог ли я довериться другим?

Так шли годы; день, которого я ожидал, рано или поздно бы наступил, и все бы закончилось. Я ничего большего не хотел. Жизнь сыграла со мной злую шутку. Пусть так: я не винил ни себя, ни окружающих, принимал все, как есть, молча смирился. В том, чтобы все это длилось, не было никакой необходимости. Мне было скучно, просто скучно. Больше я ни на что не жаловался.

Но однажды... То есть вчера. Вчера, в субботу, я пришел перед обедом домой. Жена сказала, что нужно кое-что купить: «Завтра магазины закрыты, будь добр, сходи на рынок». Я нехотя оделся. Прошелся до рынка. Было довольно жарко. На улицах попадалось много праздных гуляк и тех, кто искал вечерней прохлады в пыльном воздухе. Я закончил покупки и, зажимая под мышкой пакеты, пошел к главной площади с памятником. Мне хотелось вернуться домой не по кривым и извилистым улочкам, как обычно, а по асфальтированной

дороге, пусть и сделав крюк. Большие часы над одной из лавочек показывали шесть. Внезапно кто-то поймал меня за руку. Женский голос закричал мне в ухо:

– Герр Раиф!

Я ужасно удивился, что ко мне обратились по-немецки. От страха я чуть не вырвался и не убежал. Женщина держала меня крепко.

– Нет, я не ошиблась! Вы – герр Раиф! Господи, как люди меняются! – кричала она. Прохожие оборачивались на нас.

Я медленно поднял голову. По объемной фигуре, еще не видя лица, я узнал ее. Ее голос не изменился.

– Ах, фрау ван Тидеманн, кому могло прийти в голову увидеть вас в Анкаре?

– Нет, уже не фрау ван Тидеманн! Только фрау Дёппке! Ради мужа я пожертвовала приставкой «ван» и дворянским титулом, но не очень-то жалею!

– Поздравляю... Значит...

– Да-да! Как вы и предполагали! Вскоре после того, как вы уехали, мы тоже покинули пансион! Вместе, конечно. Уехали в Прагу.

Едва она упомянула Прагу, у меня екнуло сердце. На этот раз я не мог сдержаться и не думать о том, что с некоторых пор старался забыть. Но зачем было спрашивать? Она не знала о моих отношениях с Марией. Что бы она подумала о моем вопросе? Разве она не спросила бы, откуда я знаю Марию? А что бы она сказала потом... Не лучше было бы не знать ничего? Прошло так много времени – ровно десять лет, даже чуть больше – зачем было спрашивать об этом?

Я заметил, что мы стоим посреди улицы, и предложил:

– Пойдемте где-нибудь посидим, расскажем друг другу новости! Я все-таки удивлен, что вижу вас в Анкаре!

– Да, хорошо было бы где-нибудь посидеть, но у нас скоро поезд, осталось меньше часа. Как бы нам не опоздать! Если бы я знала, что вы в Анкаре, непременно бы позвонила. Мы приехали вчера вечером. А сегодня вечером уезжаем.

Я не сразу заметил рядом с ней бледную молчаливую девочку лет восьми-девяти. Я улыбнулся и спросил:

– Это ваша дочь?

– Нет, – ответила она. – Моя родственница. Сын заканчивает юридический факультет!

– Вы все так же советуете ему книги?

Сначала она не поняла, потом вспомнила:

– Да! Но теперь он не слушает моих советов. Тогда он был намного младше. Ему было около двенадцати. Господи, как быстро летят годы!

– Да... А вы совсем не изменились!

– Вы тоже!

Я подумал, что минуту назад она была более искренней, но ничего не сказал.

Мы шли вниз по улице. Я никак не знал, с чего же мне начать разговор о Марии Пудер и все время задавал ненужные, в действительности не интересовавшие меня вопросы.

– Вы еще не сказали, зачем приехали в Анкару!

– Ах да! Самое главное – рассказать об этом! Мы не приехали в Анкару, мы в Анкаре проездом.

Она согласилась посидеть недолго в кафе и выпить лимонада и там продолжила рассказ:

– Муж сейчас в Багдаде. Вы же знаете, он торгует в колониях!

– Но ведь Багдад, кажется, не немецкая колония!

– Я знаю, дорогой мой. Но муж сейчас специализируется на продуктах из жарких стран. В Багдаде он закупает финики!

– В Камеруне он тоже закупал финики?

Женщина посмотрела на меня с недоумением и, наверное подумала: «Ты, как всегда, невпопад!»

– Не знаю, напишите ему письмо и спросите! – ответила она. – Он не позволяет женщинам вмешиваться в дела!

– А сейчас куда вы едете?

– В Берлин. Навестить родину. И еще... – она указала на бледную девочку, сидевшую рядом. – Ради этой девочки. Она провела зиму с нами, она немного слабенькая. А сейчас везу ее обратно.

– Значит, вы часто ездите в Берлин!

– Два раза в год!

– Наверное, у герра Дёпке дела идут хорошо!

Она кокетливо рассмеялась.

Я все еще не решался спросить. Теперь я и сам заметил, что колебался не потому, что не знал, как спросить, а потому, что боялся того, что узнаю. Но разве было уже не все равно? Во мне не осталось

живых чувств. Чего же я боялся? Ведь и Мария могла найти себе герра Дёппке. А может, она до сих пор была не замужем и, бегая от мужчины к мужчине, искала «человека, которому можно верить». Она, наверное, уже забыла мое лицо.

Когда я думал об этом, я заметил, что тоже не могу вспомнить ее лица, и впервые за десять лет вспомнил, что у меня не было ее фотографии, а у нее – моей... И удивился. Как так вышло, что, расставаясь, мы не подумали об этом? Допустим, мы предполагали быстро встретиться и верили в силы нашей памяти, но как же я мог заметить это только сейчас? Разве раньше я не испытывал потребности видеть ее лицо?

Я вспомнил, что первые месяцы хранил черты ее лица в памяти и она оживала в моих мечтах каждый миг без труда. Затем... Поняв, что все кончено, я с особой тщательностью старался избегать видеть ее лицо и представлять его себе. Я знал, что не смогу этого вынести. Ее лицо, лицо Мадонны в меховом манто даже в воображении так действовало на меня, что совершенно лишало спокойствия.

Но сейчас мне захотелось еще раз вспомнить прошлое, и, уверившись, что я не буду волноваться, я искал в памяти ее лицо, но не мог найти... И у меня не осталось даже ее фотографии...

Зачем?

Фрау Дёппке посмотрела на часы и встала. Мы вместе пошли к вокзалу.

Женщине очень нравилась Анкара и Турция.

– Я еще не видела страны, в которой оказывали бы такой почет иностранцам! – говорила она. – Даже в Швейцарии не так, хотя своим благосостоянием она обязана путешественникам. Люди там смотрят на каждого иностранца так, будто он вторгся к ним в дом. А в Турции все словно ждут удобного момента, чтобы помочь иностранцу! И мне очень нравится Анкара!

Женщина болтала всю дорогу. Девочка шла на несколько шагов впереди, трогая деревья на обочине. Когда мы почти подошли к вокзалу, я принял окончательное решение и, стараясь сохранять как можно более безразличный вид, заговорил:

– В Берлине у вас много родственников?

– Нет, не очень. Я вообще-то родом из Праги, из чешских немцев. А первый муж был голландцем... Почему вы спрашиваете?

– Когда я был там, я знал одну женщину, которая говорила, что она – ваша родственница.

– Где?

– В Берлине... Я случайно встретил ее на одной выставке. Кажется, она была художником.

Женщина внезапно оживилась.

– Так... А дальше? – сказала она.

Поколебавшись, я ответил:

– Дальше... Не знаю... Кажется, мы однажды долго разговаривали. У нее была очень красивая картина. Вот поэтому...

– Вы помните, как ее звали?

– Кажется, Пудер... Да-да, Мария Пудер! Под картиной было подписано. И в каталоге тоже.

Женщина молчала. Я взял себя в руки:

– Вы с ней знакомы?

– Да. А почему она вам сказала, что она моя родственница?

– Не помню... Кажется, я рассказывал о нашем пансионе, а она сказала, что у нее там родственница... Или как-то по-другому... Я сейчас не могу вспомнить. Ведь десять лет прошло!

– Да... Срок не маленький. Ее мать говорила мне, что Мария рассказывала, будто у нее был приятель-турок и что она однажды весь день говорила о нем. Я тогда подумала, не вы ли это. Разве не странно, что женщина так ни разу и не видела этого турка, которым так восхищалась ее дочь? В тот год она уехала в Прагу и потом от дочери узнала, что турецкий студент уехал из Берлина!

Мы пришли на вокзал. Женщина шла к поезду. Я боялся, что если мы сменим тему, то больше не сможем вернуться к этому разговору и я не смогу узнать то, что мне хотелось знать больше всего. Поэтому я с большим интересом посмотрел ей в глаза, ожидая продолжения.

Мальчишка-носильщик из гостиницы занес в вагон вещи, женщина отпустила его и повернулась ко мне.

– Почему вы спрашиваете? – спросила она. – Вы говорили, что очень мало знали Марию.

– Да... Но она, наверное, произвела на меня очень сильное впечатление, Мне так понравилась ее картина...

– Она была хорошим художником.

Я почувствовал неясную тревогу и спросил:

– Вы сказали – была художником? А сейчас – нет?

Женщина, осмотревшись по сторонам, поискала девочку и, увидев, что та зашла в вагон, тихо сказала:

– Конечно, нет... Потому что ее уже нет в живых!

– Как?

Я почувствовал, что это слово вырвалось у меня как крик. Люди вокруг обернулись, а девочка высунула голову из окна купе и с удивлением взглянула на меня.

Женщина внимательно меня разглядывала:

– Почему вы так удивились? Почему побледнели? Вы же сказали, что мало ее знали?

– Как бы то ни было, – ответил я, – такая неожиданная смерть!

– Да. Но это не новость. Кажется, уже десять лет прошло, как она умерла.

– Десять лет? Невозможно...

Женщина снова пристально на меня посмотрела и слегка отступила:

– Я вижу, вас интересует судьба Марии Пудер. Лучше я быстро расскажу вам, – сказала она. – Примерно через две недели после того, как вы уехали в Турцию, мы с герром Дёпке тоже отправились в путь и поехали к нашим родственникам, у которых было имение под Прагой. Там мы случайно встретили эту Марию Пудер с матерью. У меня с ее матерью были не очень хорошие отношения, но там мы этого не вспоминали. Мария плохо себя чувствовала и была очень слаба, она говорила, что перенесла в Берлине тяжелую болезнь. Через какое-то время они вновь вернулись в Берлин. Девушка уже почти поправилась. Мы тоже уехали, в Восточную Пруссию, на родину мужа. Когда зимой вернулись в Берлин, узнали, что Мария Пудер умерла в начале октября. Конечно, я сразу забыла всякую обиду и разыскала ее мать. Та была в страшном горе, выглядела чуть не на шестьдесят... Между тем тогда ей было только сорок пять – сорок шесть лет. Она нам рассказала, что, когда они уехали из Праги, Мария заметила у себя кое-какие перемены, пошла к врачу, и выяснилось, что она беременна. Она очень радовалась, но, несмотря на настойчивые просьбы матери, не сказала, от кого ребенок. Только все время твердила: «Потом узнаешь!» и говорила о путешествии, в которое собиралась отправиться. К концу беременности здоровье ее начало ухудшаться,

врачи сочли роды опасными, и, несмотря на несколько затянувшееся положение, попытались вмешаться, но Мария никак не соглашалась, чтобы трогали ребенка. Затем ей внезапно стало плохо, ее отвезли в больницу. Кажется, у нее было много альбумина... К тому же болезнь, которую она перенесла до этого, ослабила ее организм. Перед родами она несколько раз впадала в полное забытие. Врачи все-таки вмешались, извлекли и реанимировали ребенка, но, несмотря на это, приступы у Марии продолжились, а через неделю она умерла в коме. Она не могла ничего сказать. Она никак не предполагала, что умрет. Даже в последние минуты, когда она была в сознании, она говорила матери что-то непонятное: «Когда ты узнаешь, то удивись, но потом будешь довольна!» – и никак не называла имени отца ребенка. Мать потом вспоминала, что перед ее отъездом в Прагу дочь часто рассказывала ей о каком-то турке. Но она ни лица его не видела, ни имени его не знала... Девочка до четырех лет была в больницах и диспансерах, а затем бабушка забрала ее... Немного слабая и тихая, но очень милая девочка... Вы не находите?

Я почувствовал такую слабость, что едва не упал. У меня кружилась голова. Несмотря на это, я крепко стоял на ногах и улыбался.

– Эта девочка? – спросил я и головой указал на окно вагона.

– Да... Прелестная, правда? У нее такой хороший характер, и она такая спокойная! Могу представить, как по ней соскучилась бабушка!

Говоря это, женщина пристально смотрела мне в глаза. Ее глаза сверкали, как мне показалось, почти враждебно.

Поезд вот-вот должен был отправиться. Она вошла в вагон.

Через какое-то время они обе показались в окне. Девочка с безразличной улыбкой рассматривала вокзал и время от времени бросала взгляд на меня. Пожилая и полная женщина ни на миг не сводила с меня глаз.

Поезд тронулся. Я помахал им рукой. Я заметил, как фрау Дёппке коварно улыбается.

Ребенок отошел от окна...

Все это произошло вчера вечером. Сейчас, когда я пишу эти строки, минуло чуть больше суток.

Ночью я не смог заснуть ни на минуту. Лежа на спине в кровати, я все время думал о девочке в поезде. Я словно бы видел ее головку, покачивающуюся в такт движениям вагона. Девочка с густыми волосами... Я не знал ни цвета ее глаз, ни цвета волос, ни даже ее имени. Я не обратил на нее внимания. Я даже ни разу не поинтересовался ею и не взглянул ей в лицо, хотя она была рядом со мной, на расстоянии шага. Я даже не пожал ей ручку, когда мы расставались. Я ничего не знал... Господи Всемогущий, я ничего не знал о своей дочери... Конечно же, женщина о многом догадалась... Иначе почему она так злобно на меня смотрела? Должно быть, что-то заподозрила... Забрала девочку и уехала... Сейчас они в пути... Колеса мчатся, стучат по рельсам, головка моей спящей дочери покачивается в такт...

Я неотступно думал о них. В конце концов не вытерпел, и образ, который я настойчиво пытался удалить из своего сознания, медленно и беззвучно появился у меня перед глазами: Мария Пудер, моя Мадонна в меховом манто стояла передо мной, слегка скривив губы и глядя на меня своими бездонными черными глазами. В ее лице не было ни обиды, ни упрека. Она смотрела на меня, может быть, слегка удивленно, но гораздо больше в ее взгляде было сострадания и нежности. А мне не хватало смелости посмотреть на нее в ответ. Десять лет, целых десять лет я сердился на умершего человека, я винил мертвого человека, переживая обиду всей своей жалкой душой... Можно ли было сильнее оскорбить ее память? Я десять лет сомневался в человеке, который был сутью, целью и причиной моей жизни, ничуть не задумываясь о том, что я сам могу быть несправедливым. Я воображал самые невозможные вещи о ней и ни разу, ни на мгновение не остановился и не подумал, что, возможно, у нее была причина поступить именно так и покинуть меня. Между тем самой главной, самой непреодолимой причиной оказалась смерть. Я сходил от стыда с ума. Меня изводила грусть и запоздалое раскаяние перед умершим человеком. Я чувствовал, что даже если до конца жизни на коленях буду пытаться искупить преступление, совершенное мною по отношению к ее памяти, то не смогу достичь желаемого. Моя вина перед самым безгрешным человеком была самой тяжелой на земле; я чувствовал тяжесть предательства – я бросил любящее сердце и теперь знал, что это мне никогда не простится.

Еще несколько часов назад я полагал, что не смогу вспомнить ее лица, потому что у меня нет фотографии. Теперь же, вспоминая, я видел ее лучше и яснее, чем она представлялась мне при жизни. Она выглядела точно как на картине: слегка грустной, довольной тем, что имела. Ее лицо было еще бледнее, глаза – еще чернее. Нижняя губа слегка выдавалась вперед, рот был приоткрыт, словно она собиралась воскликнуть: «Ах, Раиф!» Сейчас она виделась мне более живой, чем когда-либо наяву... Значит, она умерла десять лет назад! Она умерла, когда я ждал ее, когда я готовил к ее приезду свой дом. Она умерла, никому ничего не сказав, чтобы я не мучился невозможным, чтобы не создавать мне трудностей, она умерла, забрав с собой свою тайну.

Теперь я понимал истинную причину гнева, который я испытывал к ней, причину того, что я возвел вокруг себя глухую стену: десять лет я продолжал любить ее страстной любовью, которая ничуть не стала слабее. Никому, кроме нее, я не позволял проникнуть к себе в душу. И сейчас я любил ее сильнее, чем всегда. Я тянул руки к призраку, стоявшему передо мной, я хотел снова согреть ее руки в своих ладонях. Мне вспомнилась во всех подробностях наша с ней жизнь, те четыре или пять месяцев, что мы провели вместе, я вспоминал каждый наш разговор, каждое сказанное нами слово. Я снова проживал все по порядку, начиная с того, как я увидел на выставке ее картину, как я слушал в «Атлантике» ее пение, как она подошла ко мне, как мы гуляли с ней в ботаническом саду, как сидели рядом у нее в комнате, ее болезнь. Эти воспоминания, ценные и богатые настолько, что их хватило бы на целую жизнь, были живее и сильнее, чем все, что существовало в реальности, поскольку они были сжаты коротким промежутком времени. Они показали мне, что за прошедшие десять лет я не жил ни минуты; что все мои поступки, мысли, чувства были далеки от меня – настолько далеки, что будто принадлежали другому человеку. Я сам за всю свою жизнь – примерно тридцать пять лет – жил всего четыре-пять месяцев, а затем похоронил себя в бессмысленном существе, которое не имело ко мне никакого отношения.

Вчера вечером, лежа перед образом Марии, я понял, что отныне мне будет еще тяжелее носить тело этого человека, никак не связанного со мной, эту голову. Я буду кормить это тело, как кормят чужого, буду таскать его за собой и всегда буду наблюдать за ним – с

жалостью и презрением. И еще вчера вечером я понял, что когда эта женщина ушла из моей жизни, в ней все потеряло истинную суть; я умер тогда, вместе с ней, а может быть, и раньше, когда мы расстались.

Домашние сегодня ушли вместе гулять. Я сказал, что нездоров, и остался дома. Я пишу эти строки с утра. Уже начало темнеть. Они еще не вернулись. Но скоро они свалятся как снег на голову, с криками и смехом, как всегда. Какое я имею к ним отношение? Какой смысл имеют все родственные связи между людьми, если их души не вместе? За долгие годы я не сказал никому ни слова. Между тем мне очень нужно поговорить. Похоронить все внутри себя – разве не то же самое, что похоронить себя заживо? О, Мария, почему мы не можем сидеть с тобой у окна? Почему осенним вечером мы не можем молча идти вместе, слушая, как разговаривают наши души? Почему ты не рядом со мной?

Возможно, я напрасно десять лет убежал от людей. Быть может, я был несправедлив, не веря людям. Если бы я искал, я, может быть, смог найти другого человека. Если бы я тогда все узнал, может быть, со временем смирился бы и старался бы найти тебя в других людях. Но теперь все кончено. Теперь, после того, как я допустил огромную, непростительную несправедливость к тебе, я не хочу ничего исправлять. Доверившись ложному представлению о тебе, я винил всех людей; я бежал от них. Сегодня я узнал правду, но я вынужден осудить себя на вечное одиночество. Жизнь – это партия в карты, которую играют только раз. Я проиграл свою партию. Второй раз играть не могу... Теперь жизнь моя станет еще хуже, чем раньше. Я снова буду, как машина, ходить за покупками. Буду встречаться с людьми и слушать их разговоры, но мне будет безразлично, кто эти люди и что они думают. Разве могла моя жизнь быть другой? Не думаю. Если бы ты случайно не появилась передо мной, я бы так и жил, но ни о чем бы не ведал. Ты показала мне, что на земле существует другая жизнь, что у меня есть душа. Если ты не смогла довести учебу до конца, не ты в этом виновата... Я благодарен тебе за несколько месяцев, когда ты дала мне возможность жить по-настоящему. Разве несколько тех месяцев не стоят целой жизни? Ребенок, оставленный тобой, частица твоей плоти, наша дочь, будет жить где-то в далеких краях, не подозревая, что на земле у нее есть

отец... Наши дороги пересеклись один раз. Я ничего о ней не знаю. Ни ее имени, ни где она живет. Но сердцем я всегда буду с ней. Я буду рядом с ней, представляя, как течет ее жизнь. Представляя, как она растет, как идет в школу, как смеется и как размышляет, я постараюсь заполнить одиночество будущих лет моей жизни. Слышится шум. Должно быть, наши вернулись. Я хочу писать еще. Но зачем? Я столько уже написал – и что? Дочке надо завтра купить новую тетрадь, а эту спрятать. Все, все надо спрятать, а особенно душу – туда, где ее никогда не найдут...

На этом тетрадь Раифа-эфенди кончалась. Другие страницы были пусты. Душу, спрятанную в страхе, он показал лишь раз – на страницах этой тетради, а затем вновь замкнулся в себе и молчал много лет.

Близилось утро. Я обещал вернуть тетрадь, а потому положил ее в карман и направился к дому больного. Дверь открылась; плач, доносившийся из дальних комнат, сказал мне все. Некоторое время я стоял в нерешительности, не зная, что делать. Не хотелось уходить, не увидев Раифа-эфенди в последний раз. Но я чувствовал, что не смогу этого вынести. Не смогу смотреть на то, как человек, чью жизнь, самые важные ее моменты я пережил с ним, превратился в безжизненное ничто. И я потихоньку вышел на улицу. Его смерть не произвела на меня особого впечатления. У меня было чувство, что я не потерял Раифа-эфенди, а только сейчас нашел по-настоящему.

Вчера вечером он сказал мне: «Мы ни разу с тобой не разговаривали!» Но теперь я об этом не думал. Я долго говорил с ним, всю ночь.

Расставаясь с нашим миром, он остался со мной живым – такого больше не будет ни с кем. Я всегда буду видеть его рядом.

Придя на работу, я сел за пустой стол Раифа-эфенди и, положив перед собой его тетрадь в черной обложке, начал читать еще раз.

Ноябрь 1940 – февраль 1941

| |
|--------------|
| notes |
|--------------|

Примечания

Народные дома – культурные заведения, призванные проводить в жизнь культурную политику Ататюрка, аналог Домов культуры советского времени. – *Здесь и далее прим. переводчика.*

Эфенди — «господин», «сударь», обращение, принятое в османской Турции.

«*Бай*» — «господин», «*байян*» — «госпожа», обращения, введенные в употребление в республиканской Турции в 1930-х годах.

Сивас – город в центральной Анатолии, один из давних центров ковроткачества.

Акыда – род мусульманского исповедания веры, суннитская акыда начинается словами «Аманту би-ль-Лахи...» – «Верую во Всевышнего Бога, в Его Ангелов...» и состоит из перечисления шести столпов ислама.

Куруш – мелкая монета. Одна турецкая лира равняется ста курушам.

Хавран – небольшой городок на западе Анатолии, в районе Эгейского моря.

Эдремит – городок на западе Анатолии.

Ахмет Митхат (1844–1913) – турецкий писатель-просветитель, критик, философ и публицист. Один из основоположников жанров короткого рассказа и романа в турецкой литературе нового времени.

Веджихи (ум. 1904) – турецкий прозаик, известный своими сентиментальными романами.

Первые годы после Мудросского перемирия 30 октября 1918 года, узаконившего поражение Османской империи в Первой мировой войне, оккупацию Стамбула и многих других областей страны войсками Антанты.

Речь идет о повести И.С. Тургенева «После смерти (Клара Милич)», написанной в 1882 г.

Нихаль — героиня известного романа «Запретная любовь» турецкого прозаика Халида Зии Ушаклыгиля (1869–1845).

Меджхуре — героиня одного из сентиментальных романов османского прозаика Веджихи (конец XIX вв.).

Рыцарь Буридан – герой одноименного романа французского писателя Мишеля Зевако (1860–1918).

Мевлюд — поэма о пророке Мухаммеде средневекового османского поэта Сулеймана Челеби (XV в.), исполняемая вслух на праздник дня рождения Пророка.

Андреа дель Сартто (1486–1530) – итальянский живописец, принадлежавший к флорентийской школе Высокого Возрождения.

Теравих — молитва, которую особо набожные мусульмане совершают в ночи месяца рамазан (мусульманского поста), после обязательной для всех вечерней молитвы.

Ферадже – накидка мусульманских женщин, закрывающая голову и верхнюю часть тела.

«Романское кафе» — заведение, располагавшееся в так называемом «Романском доме» в Берлине, разрушенном во время бомбового налета в ноябре 1943 года. Было известно как излюбленное место встречи интеллектуалов и художников. В разное время его завсегдатаями были Бертольд Брехт, Эрих Мария Ремарк, Рудольф Штейнер и другие.

Якоб Вассерман (1873–1934) – немецкий писатель-новеллист.

В начале 1920-х гг. XX в. в республиканской Турции еще продолжал применяться арабский алфавит.

Миндер — тюфяк, мягкая подстилка для сидения на полу.

Балыкесир – небольшой город в северо-западной части Турции.

Вилайет – административно-территориальная единица в Турции.